Пнин

Перевод с английского Г. Барабтарло при участии В. Е. Набоковой - 1

Владимир Набоков

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Геннадий Александрович Барабтарло (род. в 1949 г.) по окончании курса в Московском университете на кафедре русской филологии служил в Музее Пушкина в должности научного сотрудника и ученого секретаря и изредка печатал статьи и переводы под своим настоящим именем и под чужими. Тридцати лет эмигрировав в Америку, получил в 1984 г. докторскую степень по русской литературе в Иллинойском университете и место доцента, а потом и ординарного профессора на кафедре германской и русской словесности главного университета Миссури (в городе Колумбия), которой теперь заведует. Большая часть его научных трудов, опубликованных почти исключительно в американских изданиях, посвящена Пушкину и Набокову. Роман последнего «Пнин», равно как и все его английские рассказы, были переведены Барабтарло на русский язык в сотрудничестве с вдовой Набокова. «Пнин» издан в 1983 г. «Ардисом» и перепечатан, с неисправностями, «Иностранной литературой» (1989, № 2); переводы рассказов появлялись в разных эмигрантских повременных изданиях. Работы Барабтарло о Набокове собраны в двух его книгах: «Тень факта. Путеводитель по „Пнину"» («Phantom of Fact. A Guide to Nabokov's "Pnin"» Ann Arbor: Ardis, 1989) и «Вид сверху. Очерки художественной техники и метафизики Набокова» («Aerial View. Essays of Nabokov's Art and Metaphysics». N. Y. – Bern, 1993). Комментированное им издание рассказов Солженицына («Как жаль») недавно вышло в Англии в серии «Бристольские классические тексты». Время от времени Барабтарло помещает в русских зарубежных журналах свои стихи и прозу.

- Владимир Набоков
  -
  - (Перевод с английского Г. Барабтарло при участии В. Е. Набоковой)
  - 2
  - 3
  - Глава вторая
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

- Глава третья
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Глава четвертая
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Глава пятая
- 2
- 3
- 4
- 5
- Глава шестая
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Глава седьмая
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Послесловие переводчика

Владимир Набоков

Пнин

(Перевод с английского Г. Барабтарло при участии В. Е. Набоковой)

Глава первая

1

Пожилой пассажир, сидевший у окна по северной стороне неумолимо мчавшегося железнодорожного вагона, рядом со свободным местом, напротив двух незанятых, был никто иной как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он начинался весьма солидно: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), обезьянья верхняя губа, толстая шея и внушительный торс в тесноватом твидовом пиджаке; но как-то неожиданно заканчивался парой журавлиных ног (сейчас они во фланелевых штанах, одна на другой) и хрупкими на вид, почти женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в сиреневых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему чуть ли не дороже всей остальной экипировки (включая вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую эпоху своей жизни, он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков со стрелкой, спокойной расцветки, которые держались подвязками на его облаченных в полотно икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко задравшейся штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, ибо даже когда увядшей мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизированной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет,- случалось придти к нему за квартирной платой, а на нем не было его faux col, чопорный Пнин прикрывал целомудренной рукой запонку на горле. Все это преобразилось в опьяняющей атмосфере Нового Света. Ныне, в пятьдесят два года он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на

ногу, старательно умышленно и дерзко выставлял напоказ чуть ли не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но если не считать солдата, севшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом,- Пнин был один в вагоне.

Откроем теперь секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Он не знал этого – как, впрочем, не знал и кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. По правде говоря, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне – около двухсот верст на запад от Уэйнделя, академического насеста Пнина с 1945 года,- вице-президентша Женского клуба Кремоны мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд уходит из Уэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; но Пнин – который как многие русские люди прямо-таки обожал всякого рода расписания, карты, каталоги, собирал их, без стеснения брал их, радуясь приобретению задарма, и исполнялся особенной гордостью, если ему удавалось самому разобраться в расписании поездов,- после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Уэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта означала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два девятнадцать останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским названием. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Уэйндельском университете, несколько провинциальном учреждении, которое было примечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса, обвитыми плющом галлереями, соединяющими разные здания, фресками, на которых можно было узнать профессоров колледжа, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок, и огромным, преуспевающим Германским отделением, которое д-р Гаген, его глава, самодовольно называл (отчеканивая каждый слог) «университетом в университете».

В осеннем семестре того года (1950) в списке записавшихся на курсы русского языка значились: одна студентка (плотненькая и серьезная Бетти Блисс) в переходной группе; один студент, Иван Дуб (пустой звук – он так и не воплотился), в старшей, и трое в процветавшей начальной: Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска; Чарльз Макбет,

сверхъестественная память которого уже одолела десять языков и готова была поглотить еще с десяток, и томная Эйлина Лэйн, которой кто-то сказал, что, усвоив русский алфавит, можно, в принципе, читать «Анну Карамазову» в оригинале. Как преподаватель, Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, как-то умудряются, однако, при помощи интуиции, болтливости и какого-то материнского наскока внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка в атмосфере песен о Волге-матушке, красной икры и чая; еще менее мог Пнин как преподаватель дерзать приблизиться к высоким залам новейшей ученой лингвистики, аскетическому братству фонем, этому храму, где вдумчивых молодых людей обучают не самому языку, а методике, по которой надо преподавать эту методику; этот метод, как водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-то баснословном будущем пригодится для выработки эзотерических диалектов – Базового языка Басков и тому подобных,- на которых говорят только некоторые сложные машины. Без сомненья, подход Пнина к своей работе был дилетантским и наивным: он полагался на грамматические упражнения, изданные главой Славянского отделения гораздо более крупного, чем Уэйндель, университета – маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который, однако, великодушно одалживал свое уважаемое имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество недостатков, источал обезоруживающее, старомодное обаяние, которое д-р Гаген, его верный покровитель, отстаивал перед хмурыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Хотя ученая степень по социологии и политической экономии, которую Пнин в торжественной обстановке получил в Пражском университете в 1925, что ли, году, к середине века лишилась применения, нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за его специальные квалификации, а скорее за те незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, одновременно протирая стекла настоящего; ностальгические отступления на ломаном английском; забавные подробности автобиографии. Как Пнин приехал в Soedinyon nne Shtatn. «Допрос на борту,- перед тем как сойти на берег. Вери уэль! Вам нечего объявить?» – «Нечего». Вери уэль! Тогда – политические вопросы. Он спрашивает: «Вы не анархист?» – «Я отвечаю,- рассказчик делает паузу, чтобы

предаться уютному немому веселью.- Во-первых: что мы понимаем под анархизмом? Анархизм практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод,- говорю я,- все это имело для меня значение». Вот и была у нас очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Эллис Айленде»,- брюшко начинает колыхаться; колышется; рассказчик трясется от смеха.

Но случались и куда более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготовляя детей к дивному удовольствию, которое он сам некогда испытал, и уже обнаруживая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный ряд желтых зубов, закрывал, бывало, потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной; он раскрывал книгу, и тут очень часто его пластичные черты искажало выражение крайнего смущения; разинув рот, он лихорадочно перелистывал том направо и налево, и, бывало, проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу – или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно выбранное место бывало из старой и наивной комедии из купеческого быта, сооруженной Островским почти сто лет назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из банального лесковского фарса, построенного на словесных искажениях. Он преподносил этот залежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки (театр в Петербурге), нежели с четкой простотой Московского Художественного; но так как для того чтобы оценить хоть то немногое забавное, что эти пассажи еще сохраняли, надо было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но и немалым запасом литературных сведений, так как его бедный маленький класс не обладал ни тем, ни другим, то чтец один наслаждался тонкими ассоциациями своего текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясенье. При полном освещении примеряя на своем лице все маски по очереди, обращаясь ко дням своей пылкой и восприимчивой юности (в блистающем мире, казавшемся особенно ярким после того, как один удар истории разом уничтожил его), Пнин пьянел от бродивших в нем вин, пока извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он изнемогал от смеха; по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкие полосы розовой верхней десны неожиданно выскакивали, как черт из табакерки, и его рука

взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. И хотя речь, придушенная пляшущей ладонью, была теперь вдвойне непонятна классу, – полная его капитуляция перед собственным весельем действовала неотразимо. К тому моменту, когда он уже совершенно изнемогал, его студенты помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лаял, как заводной, ослепительно прелестный поток смеха неожиданно преображал невзрачную Джозефину, тогда как очаровательная Эйлина расплывалась в желе непривлекательного гогота.

Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде.

Как объяснить это печальное происшествие? Пнин, это надо подчеркнуть особо, был все что угодно, но только не тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетья, der zerstreute Professor. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался дьявольских ловушек, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение (непредсказуемая Америка) не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Этот мир был рассеян, а Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной войной с неодушевленными предметами, которые разваливались или нападали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки; но так как он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камень так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене (притом с моргающим глазом), и проделать множество других домашних трюков, которые у русских всегда наготове, то он верил, что наделен значительными прикладными и техническими способностями. Всякими изобретениями и он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приспособления приводили его в восхищенье. Пластики сводили его с ума. Он не мог надивиться на змеевидную застежку. Но благоговейно включенные им в сеть часы, случалось, запутывали его утра после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию. Оправа его очков, бывало, раскалывалась на переносице, и он оставался с двумя одинаковыми половинками, нерешительно пытаясь соединить их, надеясь, должно быть, на какое-нибудь чудо органического восстановления, которое придет к нему на помощь. Иногда в кошмарную минуту спешки и отчаяния застежку, от которой мужчина зависит более всего, заклинивало в его недоумевающей руке.

И он все еще не знал, что сел не в тот поезд.

Область особенно опасную для Пнина представлял английский язык. Не считая таких не особенно полезных случайных словечек, как the rest is silence (остальное – молчанье), nevermore (больше никогда), weekend (конец недели), who's who (кто – что), и несколько обиходных слов вроде есть, улица, самопишущее перо, гангстер, чарльстон, марджиналь ютилити, он вовсе не владел английским в то время, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного Президента. В 1941 году, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде вишфуль финкинг (принимать желаемое за действительное) и оки-доки. К 1942-му он был в состоянии прерывать свое повествование фразой «Ту мэйк э лонг стори шорт» (короче говоря). К началу второго срока президента Трумана Пнин практически мог справиться с любой темой; но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950 году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме («Бескрылая Европа: обзор современной континентальной культуры»), которым руководил д-р Гаген. Все лекции нашего друга, включая те случайные, с которыми он выступал в других городах, редактировал один из младших сотрудников Германского отделения. Процедура была несколько громоздкая. Профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, пересыпанный идиоматическими выражениями, на корявый английский. Это исправлялось молодым Миллером. Потом секретарша д-ра Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все это на машинке. Потом Пнин вычеркивал места, которые он не понимал. Потом он читал остальное своей еженедельной аудитории. Он был совершенно беспомощен без приготовленного текста; не мог он воспользоваться и старым приемом маскировать свой недостаток движением глаз вверх-вниз – выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Беспокойный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напоминавшим восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются люди, побаивающиеся лифтов.

Кондуктору, седовласому, по-отечески добродушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом, функциональном носу, с кусочком запачканного

пластыря на большом пальце, оставалось теперь пройти всего три вагона до того, как добраться до последнего, в котором сидел Пнин.

Тем временем Пнин предался удовлетворенью особой пнинской страсти. Он был в пнинском затруднении; Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе,- сапожных колодок, яблок, словарей и так далее,- в его чемодане лежал сравнительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию («Коммунисты ли русские люди») перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник («Дон Кихот и Фауст»), которую он рассчитывал проштудировать на следующий день на обратном пути в Уэйндель, и работа аспирантки Бетти Блисс («Достоевский и Гештальт-психология»), которую он должен был прочитать за д-ра Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем: если он будет держать Кремонскую рукопись – пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам – при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить ее из пиджака, который был на нем, в тот, который на нем будет. С другой стороны, если бы он теперь поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане, он знал, что стал бы терзаться возможностью кражи багажа. С третьей стороны (такие душевные состояния все время обрастают дополнительными сторонами), он вез во внутреннем кармане своего теперешнего пиджака драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймз» в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и своим удостоверением американской натурализации; и в принципе можно было, вытаскивая бумажник, ежели он понадобится, при этом фатально выронить и сложенную лекцию. В течение двадцати минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрывал чемодан, возясь со своими различными бумагами. Когда кондуктор дошел до его вагона, усердный Пнин с трудом разбирал произведение Бетти, которое начиналось так: «Рассматривая духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить…»

Кондуктор вошел, не стал будить солдата; пообещал женщинам дать знать, когда им выходить; а потом покачал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена два года назад.

– Важная лекция! – вскричал Пнин.- Что делать? Это катастрофа!

Седой кондуктор степенно, неторопливо опустился на противоположное сиденье и молча стал справляться в потрепанной книге, полной вставок на страницах с загнувшимися уголками. Через несколько минут, а именно в 3.08, Пнину придется выдти в Уитчерче; тогда он сможет поспеть на четырехчасовой автобус, который около шести доставит его в Кремону.

– Я думал, что выигрываю двенадцать минут, а теперь я теряю целых два часа,- с горечью сказал Пнин. После чего, прочищая горло и не слушая утешений седовласого добряка («Да вы успеете»), он снял рабочие очки, поднял свой тяжелый, как камень, чемодан и направился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока спутанную, скользящую мимо зелень отменит и заменит собою нужная ему станция.

2

Уитчерч объявился по расписанию. За плотной геометрией разнообразных отчетливых теней лежало горячее, оцепенелое пространство залитого солнцем бетона. Местная погода была невероятно летней для октября. Не теряя времени, Пнин вошел в нечто вроде ожидальной, залы с ненужной печкой посередине и огляделся. В голой нише можно было различить верхнюю половину запревшего молодого человека, заполнявшего бланки за широкой деревянной конторкой.

– Мне нужна справка,- сказал Пнин.- Где останавливается, четырехчасовой автобус на Кремону?

– Напротив,- коротко ответил служащий, не подымая глаз,- А где можно оставить багаж?

– Этот чемодан? Я присмотрю за ним.

И с национальной непринужденностью, которая всегда поражала Пнина, молодой человек втолкнул чемодан в угол своего закута.

– Квиттэнс?- спросил Пнин, англизируя русское «квитанция».- Чего?

– Номер?- попробовал Пнин.

– Номера вам не нужно,- сказал молодой человек и опять начал писать.

Пнин покинул станцию, удостоверился насчет автобусной остановки, и зашел в кофейню. Он съел сандвич с ветчиной, спросил другой, съел и его. Ровно в без пяти четыре, уплатив за съеденное, но не за превосходную зубочистку, старательно выбранную им из опрятной чашечки в форме сосновой шишки, стоявшей рядом с кассой, Пнин пошел обратно на станцию за чемоданом.

Теперь там был другой человек. Прежнего вызвали домой, чтобы срочно отвезти жену в родильный приют. Он должен был вернуться через несколько минут.

– Но мне нужно получить мой чемодан!- воскликнул Пнин. Заместитель сожалел, но ничем не мог помочь.

– Вот он!- вскричал Пнин, перегибаясь через конторку и указывая.

Это вышло неудачно. Он все еще указывал пальцем, когда сообразил, что требует чужой чемодан. Его указательный палец потерял уверенность. Эта минута сомнения оказалась роковой.

– Мой автобус в Кремону!- воскликнул Пнин.

– Есть еще один, в восемь,- сказал тот.

Что было делать нашему бедному другу? Ужасное положение!

Он бросил взгляд в сторону улицы. Автобус только что подошел. Выступление означало лишние пятьдесят долларов. Его рука метнулась к правому боку. О н а была тут, слава Богу! Вери уэль! Он не наденет черного костюма – вот и все. Он захватит чемодан на обратном пути. За свою жизнь он бросил, растерял, похерил множество более ценных вещей. Энергично, почти что беззаботно Пнин сел в автобус.

Не успел он проехать и нескольких городских кварталов на этом новом этапе своего путешествия, как в голове у него мелькнуло страшное подозрение. С той минуты, как он был разлучен с чемоданом, кончик его левого указательного пальца то и дело чередовался с ближайшим краем правого локтя на страже драгоценного содержимого внутреннего кармана пиджака. Вдруг он резко выхватил его. Это было сочинение Бетти.

Издавая то, что он считал международными выражениями тревоги и мольбы, Пнин ринулся со своего сиденья. Шатаясь, он добрался до выхода. Одной рукой водитель угрюмо выдоил пригоршню монет из своей машинки, возвратил ему стоимость билета и остановил автобус. Бедный Пнин оказался в центре незнакомого города.

Он был не так крепок, как это можно было предположить, судя по его мощной, выпуклой груди, и волна безнадежного утомления, которая внезапно захлестнула его неустойчивое тело, как бы отделяя его от действительности, была ощущением ему не вовсе незнакомым. Он оказался в сыром, зеленом, лиловатом парке формально-погребального вида, с преобладанием сумрачных рододендронов, глянцевитых лавров, опрысканных тенистых деревьев и скошенных газонов; и едва он повернул в аллею, обсаженную каштанами и дубами, которая – как ему отрывисто сообщил водитель автобуса – вела назад на железнодорожную станцию,- как это жуткое чувство, эти мурашки нереальности одолели его окончательно. Может быть, он что-то не то съел? Этот пикуль с ветчиной? Или то была какая-то таинственная болезнь, которой ни один из его докторов еще не обнаружил, спрашивал себя мой приятель. Я тоже хочу это понять.

Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что одна из главных особенностей жизни – обособленность. Без покрова плоти, окутывающего нас, мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделен от своего окружения. Череп – это шлем астронавта. Оставайся в нем, иначе погибнешь. Смерть есть разоблачение, смерть – это приобщение. Чудесно, может быть, смешаться с пейзажем, но это конец хрупкого «я». Чувство, которое испытывал Пнин, чем-то очень напоминало такое

разоблаченье, такое приобщенье. Он ощущал себя пористым и уязвимым. Он обливался потом. Он был испуган. Каменная скамья среди лавров спасла его от падения на панель. Была ли эта схватка сердечным припадком? Сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я сомневаюсь в этом. Мой пациент был одним из тех странных и несчастливых людей, которые следят за своим сердцем («полым, мускульным органом», по мерзкому определению «Нового Университетского Словаря Уэбстера», лежавшего в его в осиротевшем чемодане Пнина), с брезгливым страхом, с нервным отвращением, с болезненной ненавистью, как если бы оно было каким-то сильным, слизистым, неприкасаемым чудовищем, паразитом, которого, увы, приходится терпеть. Изредка, когда озадаченные его шатким и спотыкающимся пульсом, доктора исследовали его более тщательно, кардиограф чертил баснословные горные кряжи и указывал на дюжину роковых болезней, исключавших одна другую. Он боялся дотрагиваться до собственного запястья. Он никогда не пытался уснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы ночи, когда бессонный страдалец мечтает о третьем боке, испробовав те два, что у него есть.

И вот теперь, в парке Уитчерча, Пнин испытывал то, что он уже испытал 10 августа 1942 года, и 15 февраля (день его рождения) 1937 года, и 18 мая 1929-го, и 4 июля 1920-го – именно, что отвратительный автомат, которому он дал приют, обнаруживал собственное сознание, и не только грубо зажил своей, отдельной от него жизнью, но причинял ему паническое страдание. Он прижал свою бедную лысую голову к каменной спинке скамьи и стал вспоминать все прошлые случаи такого же беспокойства и отчаянья. Не воспаление ли это легких на сей раз? Два дня тому назад он продрог до костей на одном из тех славных американских сквозняков, какими хозяин ветреным вечером угощает своих гостей после второй рюмки. Внезапно Пнин (уж не умирает ли он?) заметил, что соскальзывает назад, в свое детство. Это ощущение обладало той драматической остротой ретроспективных подробностей, которая, говорят, бывает у утопающих,- особенно в старом Русском Флоте,- феномен удушья, который один маститый специалист по психоанализу, коего имя я запамятовал, объясняет как подсознательно возобновленный шок, испытанный при крещении, что вызывает взрыв промежуточных воспоминаний о событиях между первым погружением и последним. Все это произошло мгновенно, но нет возможности передать это короче, чем чередою слов.

Пнин происходил из почтенной, довольно состоятельной

петербургской семьи. Его отец, д-р Павел Пнин, окулист с солидной репутацией, однажды имел честь лечить Льва Толстого от конъюнктивита. Мать Тимофея, хрупкая, нервная, маленькая, коротко остриженная, с осиной талией, была дочерью некогда знаменитого революционера Умова и рижской немки. В полуобморочном состоянии он увидел приближающиеся глаза матери. Было воскресенье в середине зимы. Ему было одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник для классов в Первой гимназии, когда его тело прохватил странный озноб. Мать поставила ему градусник, посмотрела на свое дитя в каком-то остолбенении и немедленно послала за лучшим другом мужа, педиатром Белочкиным. Это был небольшого роста человек с густыми бровями, короткой бородкой и остриженной бобриком головой. Откинув полы сюртука, он сел на край Тимофеевой постели. Началась гонка между пузатыми золотыми часами доктора и пульсом Тимофея (который легко победил). Затем грудь Тимофея была обнажена, и Белочкин прижался к нему ледяной наготой уха и наждачной головой. Подобно плоской подошве какой-то одноножки, ухо передвигалось по всей спине и груди Тимофея, приклеиваясь к тому или другому месту на его коже и топая дальше. Как только доктор ушел, мать Тимофея и дюжая горничная с английскими булавками во рту упаковали несчастного маленького пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя намоченного полотна, более толстого слоя гигроскопической ваты и еще одного – из тесной фланели с дьявольски липкой клеенкой – цвета мочи и лихорадки,- лежавшей между неприятно-неожиданным холодом полотна, касавшегося кожи, и мучительно скрипучей ватой, вокруг которой был намотан наружный слой фланели. Тимоша – бедная куколка в коконе – лежал под грудой добавочных одеял; они ничего не могли поделать с разрастающимся ознобом, который полз по ребрам с обеих сторон его окоченевшего хребта. Он не мог закрыть глаза, потому что саднило веки. Зрение было сплошным овалом страдания с косыми уколами света; привычные формы стали рассадниками дурных видений. Возле его постели стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными рисунками, изображавшими верховую тропу, словно войлоком устланную палой листвой, пруд с водяными лилиями, старика, сутуло сидящего на скамье, и белку, державшую в передних лапках красноватый предмет. Тимоша, методичный мальчик, часто пытался выяснить, что бы это могло быть (орех? сосновая шишка?), и теперь, когда ему нечего было больше делать, он положил себе разрешить эту унылую загадку, но жар, гудевший в

голове, потоплял – всякое усилие в панической боли. Еще более тягостным был его поединок с обоями. Он и прежде замечал, что комбинация, состоявшая в вертикальном направлении из трех разных гроздей лиловых цветов и семи разных дубовых листьев, повторялась несколько раз с успокоительной правильностью; но сейчас ему мешал тот неотвязный факт, что он не мог найти систему сцеплений и разъединений в горизонтальном направлении узора; что такое повторенье существовало, доказывалось тем, что он мог выхватить там и сям, по всей стене от постели до шкапа и от печки до двери; появление то того, то другого элемента серии; но когда он пытался путешествовать вправо или влево от любой произвольно выбранной группы из трех соцветий и семи листьев, он тотчас терялся в бессмысленной путанице рододендрона и дуба. Было очевидно, что ежели злонамеренный затейник – разрушитель рассудка, сообщник лихорадки – спрятал ключ к узору с таким чудовищным тщанием,- то ключ этот должен быть так же драгоценен, как сама жизнь, а если он отыщется, то к Тимофею Пнину возвратится его повседневное здоровье, повседневный мир; и эта ясная – увы, слишком ясная – мысль заставляла его упорно продолжать борьбу.

Чувство, что он опаздывает на какое-то свидание, столь же ненавистное и неизбежное, как гимназия, обед или время идти спать, заставляло его неуклюже торопиться и еще больше затрудняло его исследование, постепенно переходившее в бред. Листва и цветы, нисколько не нарушая своих сложных сплетений, казалось, отделились цельной зыблящейся группой от бледно-голубого фона, который, в свою очередь, переставал быть плоской бумагой и выгибался вглубь, пока сердце зрителя едва не разрывалось в ответном расширенье. Он мог еще различить сквозь отдельные гирлянды некоторые наиболее живучие детали детской – например, лакированную ширму, блик стакана, латунные шары кровати, но они были еще меньшим препятствием для дубовых листьев и роскошных цветов, чем отраженье обиходного предмета в оконном стекле для созерцания наружного пейзажа сквозь то же стекло. И хотя жертва и свидетель этих призраков лежал закутанный в постели, он, в согласии с двойственной природой своего окружения, одновременно сидел на скамье в зелено-лиловом парке. На один тающий миг он почувствовал„что держит, наконец, ключ, который искал; но издалека прилетевший шелестящий ветер, мягко нарастая по мере того как усиливал колыханье рододендронов – теперь уже облетевших, слепых,- расстроил рациональный узор, некогда окружавший Тимофея Пнина. Он был жив, и этого было

достаточно. Спинка скамьи, к которой он привалился, была столь же реальна, как его одежда, бумажник или дата Великого Московского Пожара – 1812.

Серая белка, удобно сидевшая перед ним на задних лапках на земле, грызла косточку персика. Ветер передохнул и вот снова зашелестел листвой.

После припадка он был слегка испуган и неустойчив, но убеждал себя, что ежели б то был настоящий сердечный приступ, он, конечно, в большей степени чувствовал бы себя расстроенным и встревоженным, и это окольное рассуждение окончательно рассеяло его страх. Было двадцать минут пятого. Он высморкался и зашагал к станции.

Первый служащий вернулся.

– Вот ваш чемодан,- сказал он весело.- Жаль, что вы пропустили Кремонский автобус.

– По крайней мере,- и сколько величавой иронии наш незадачливый друг постарался вложить в это «по крайней мере»,- я надеюсь, ваша жена благополучна?

– Все в порядке. Придется подождать до завтра.

– Ну, что ж,- сказал Пнин,- укажите мне, где находится публичный телефон?

Служащий показал карандашом так далеко прямо и вбок, как только мог, не покидая своего закутка. Пнин с чемоданом в руке пошел было, но его позвали обратно. Карандаш теперь был направлен в сторону улицы.

– Вон видите, там два парня нагружают фургон? Они как раз сейчас едут в Кремону. Скажете, что вы от Боба Горна. Они вас возьмут.

3

Некоторые люди – в их числе я – терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Механизм рока не должен заедать. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съежившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и неэтично. Если б я читал об этом кротком пожилом человеке, вместо того чтобы писать о нем, я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремону нашел, что его лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. Однако в действительности он не только благополучно добрался, но еще и поспел к обеду: сначала фруктовый коктейль, потом мятное желе к безымянному жаркому, затем шоколадный сироп к сливочному мороженому. А вскоре после этого, наевшись сладкого, надев свой черный костюм и пожонглировав тремя рукописями, которые рассовал по карманам пиджака с тем, чтобы всегда иметь среди них нужную ему (таким образом предупреждая несчастный случай с математической безусловностью), он сидел на стуле возле кафедры, в то время как – на кафедре – Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шолка платье, с большими плоскими щеками, подкрашенными в прекрасный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, тонущих в голубом безумии позади пенснэ без оправы, представляла лектора.

– Сегодня,- сказала она,- перед нами выступит… это, кстати, наша третья пятница; в прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, слушая лекцию профессора Мура об агрикультуре в Китае. Сегодня здесь у нас, говорю это с гордостью, уроженец России и гражданин нашей страны, профессор – сейчас, боюсь, будет заминка – профессор Пан-нин. Надеюсь, я произнесла правильно. Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хочется, чтобы хватило времени задать ему потом вопросы. Между прочим, мне сказали, что его отец был домашним доктором Достоевского и что сам он немало поездил по обе стороны Железного Занавеса. Поэтому я не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Я уверена, что все вы будете в восторге, узнав, что всем нам предстоит дивный сюрприз. Наш следующий лектор – мисс Линда Лэйсфильд, автор замечательных стихов и прозы.

Все мы знаем, что она пишет стихи, прозу и рассказы. Мисс Лэйсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались за обе стороны в Революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения – по крайней мере, три – были опубликованы в сборнике «Отклики: Сто стихотворений американских женщин о любви». В 1922 году она получила премию от…

Но Пнин не слушал. Легкая зыбь, вызванная его недавним припадком, владела его зачарованным вниманием. Это длилось всего несколько сердечных ударов, с лишней систолой там и сям – последние, безвредные отзвуки,- и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру; но пока это длилось – каким ясным было видение! В середине переднего ряда он видел одну из своих прибалтийских теток, в жемчугах, кружевах и белокуром парике, надевавшимся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, покуда не помешалась. Рядом с нею, застенчиво улыбаясь, наклонив гладкую темноволосую голову, сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойная его возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподкупные, бессмертные – множество старых его друзей было рассеяно в этой туманной зале среди новых ему людей, вроде мисс Клайд, скромно возвратившейся на свое место в переднем ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либерал, из глубины залы радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в неприметном месте д-р Павел Пнин и его взволнованная жена – оба слегка расплывающиеся, но в общем чудесно восстановленные из своего смутного распада,- смотрели на своего сына с той же всепожирающей страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине поражения Наполеона, он продекламировал (очкастый мальчик, совсем один на эстраде) стихотворение Пушкина.

Краткое видение пропало. Старая мисс Херринг, профессор истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается» (1922), перегибалась через одного или двух промежуточных членов собрания, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи; меж тем как из-за спины этой дамы другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения пару увядших, беззвучно хлопающих рук.

Глава вторая

1

Знаменитые колокола Уэйндельского колледжа вызванивали свою утреннюю мелодию.

Лоренс Дж. Клементс, Уэйндельский профессор, единственным популярным курсом которого была «Философия жеста», и его жена Джоана (Пендельтон, выпуск 1930 года), недавно расстались с дочерью, лучшей студенткой отца: Изабелла, не закончив курса, вышла замуж за окончившего Уэйндель инженера, служившего в отдаленном западном штате.

Звон колоколов был как музыка при серебристом солнце. Обрамленный широким окном городок Уэйндель – белые дома, черный узор веток – был, как на детском рисунке, вдвинут в примитивную перспективу, лишенную пространственной глубины, посреди грифельно-серых холмов; все было красиво убрано инеем; блестящие части запаркованных машин блестели; старый скотч-терьер, принадлежавший мисс Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился на свою обычную прогулку по Воррен Стрит, вниз по Спелман Авеню и обратно; однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливы звона не могли скрасить времени года; через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую зимнюю фазу – весенний семестр, и Клементсы испытывали чувство уныния, тревоги и одиночества в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них, как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дураке, который вдруг потерял треть своего веса. В конце концов Изабелла была так молода, и так рассеянна, и они в сущности не знали о ее новой родне ничего, если не считать свадебного набора марципанных физиономий в наемном зале, с воздушной невестой, такой беспомощной без своих очков.

Колокола под энергичным управлением д-ра Роберта Треблера, активного сотрудника музыкального отделения, все еще в полную силу звучали в райской вышине, а Лоренс, светловолосый, лысоватый, с нездоровой полнотой мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов бранил главу Французского отделения, одного из приглашенных Джоаною к ним на вечер гостей в честь профессора Энтвисла из Гольдвинского университета. «Почему, собственно,- кипел он,-

тебе понадобилось звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот штукатурный столп просвещения?»

– Я л ю б л ю Анну Блорендж,- сказала Джоана, кивками подтверждая свою симпатию. «Вульгарная старая ехидна!» – воскликнул Лоренс. «Трогательная старая ехидна», – пробормотала Джоана,- и тут только д-р Треблер перестал звонить, и на смену ему зазвонил телефон в прихожей.

С профессиональной точки зрения, искусство рассказчика вставлять в рассказ телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, ведущиеся из комнаты в комнату или из окна в окно через узкую голубую улочку в старинном городке, где так драгоценна вода и так несчастны ослики, где торгуют коврами, где минареты, иностранцы и дыни, и звонкое утреннее эхо. Когда Джоана своим бодрым долголягим шагом подошла к настойчивому аппарату, прежде чем он замолчал, и сказала «алло» (брови подняты, глаза бродят), глухая тишина приветствовала ее; слышен был только непринужденный звук ровного дыхания; потом голос дышавшего произнес с уютным иностранным акцентом: «Извините, одну минутку»,- это было сказано как-то между прочим, и он продолжал дышать и как будто покрякивать и кряхтеть или даже слегка вздыхать под аккомпанемент шороха перелистываемых маленьких страниц.

– Алло!- повторила она.

– Вы,- осторожно предположил голос,- миссис Файр?

– Нет,- сказала Джоана и повесила трубку.- А кроме того, – продолжала она, проворно вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который пробовал бэкон, приготовленный ею для себя,- ты же не станешь отрицать, что Джэк Коккерель считает Блоренджа первоклассным администратором.

– Кто это был?

– Кто-то спрашивал миссис Фойер или Фэйер. Послушай, если ты намеренно пренебрегаешь всем, что Джордж… (Д-р О. Дж. Хельм, их домашний врач.)

– Джоана,- сказал Лоренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала,- Джоана, дорогая, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тэер, что ищешь квартиранта?

– О, Боже,- сказала Джоана, и тут телефон услужливо зазвонил снова.

– Очевидно,- сказал как ни в чем не бывало тот же голос, возобновляя разговор,- я ошибочно воспользовался именем посредника. Я соединен с миссис Клемент?

– Да, это миссис Клементс,- сказала Джоана.

– Говорит профессор,- последовал пресмешной коротенький

взрыв.- Я веду русские классы. Миссис Файр, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам -

– Да, миссис Тэер, знаю. Что ж, хотите взглянуть на комнату?

Да, он хотел бы. Может ли он придти посмотреть ее приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безо всякой нежности положила трубку на рычаг.

– Кто на сей раз?- спросил ее муж, оборачиваясь (пухлая веснущатая рука на перилах) с лестницы по пути наверх, в безопасность своего кабинета.

– Пинг-понговый мячик, с трещиной. Русский.

– Так это профессор Пнин!- воскликнул Лоренс.- «Еще бы, как не знать,- бесценный перл…». Нет, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром.

Он свирепо протопал наверх. Она крикнула ему вдогонку:

– Лор, ты закончил вчера свою статью?

– Почти.- Он был уже за лестничным поворотом – она слышала, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь.- Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот проклятый Э. С.-экзамен.

Это означало Эволюция Смысла – самый важный его курс (на котором числилось двенадцать человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов); он открывался и должен был закончиться фразой, которой предстояло без конца цитироваться в будущем: «Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы».

2

Полчаса спустя Джоана бросила взгляд поверх полумертвых кактусов в окне застекленного крыльца и увидела мужчину в макинтоше, без шляпы, с головою, похожей на отполированный медный глобус, бодро звонившего у парадной двери великолепного кирпичного особняка ее соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с таким же доверчивым выражением как он. Мисс Дингволь вышла со шваброю в руке, впустила медлительного, исполненного достоинства пса, и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу «по-американски» и пустился в ненужные подробности. Curriculum vitae, сжатое до размеров ореховой скорлупы (кокосовой). Родился в Петербурге в 1898 году. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев был в Белой Армии, сначала «полевым телефонистом», потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил университетское образование…

– Слушайте, я ведь была там ребенком как раз в том же самом году,- обрадованно сказала Джоана.- Мой отец поехал в Турцию по поручению правительства и взял нас с собой. Мы могли встретиться! Я помню слово «вода». Там еще был сад с розами…

– Вода по-турецки «су»,- сказал Пнин, лингвист поневоле, а вернулся к своему увлекательному прошлому:- Закончил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Затем… Ну, кратко говоря: с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале Гитлеровской войны. Теперь находится здесь. Американский гражданин. Преподает русский язык и тому подобное в Вандальском университете. Рекомендации можно получить от Гагена, главы Германского отделения. Или от университетского Дома Холостых Преподавателей.

Ему там неудобно?

– Слишком много людей,- сказал Пнин.- Назойливых людей. Между тем как мне теперь совершенно необходимо полное уединение.- Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком (почему-то напомнившим Джоане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили), и затем пустился напропалую: – Должен предупредить вас, мне нужно вырвать все зубы. Это отвратительная операция.

– Ну, пойдемте наверх,- бодро сказала Джоана.

Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и

белыми воланами. Только что пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Обстоятельный Пнин осмотрел «Девушку с кошкой» Хейкера над кроватью и «Запоздавшего малыша» Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна.

– Температура ровная?

Джоана бросилась к радиатору.

– Раскаленный,- сообщила она.

– Я спрашиваю – нет ли воздушных течений?

– О да, у вас будет масса воздуха. А здесь ванная – маленькую; но зато полностью ваша.

– Душа нет? – осведомился Пнин, посмотрев наверх.- Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы собираетесь назначить? Я спрашиваю это, потому что не дам больше одного доллара в день – не считая, разумеется, пансиона.

– Хорошо,- сказала Джоана с своим приятным, быстрым смешком.

В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина («По-моему, сумасшедший – судя по его сочинениям» – говаривал Пнин), с энтузиазмом перевез пнинскую поклажу в патологически лиловатой машине без левого крыла, и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающем ресторанчике «Яйцо и Мы», куда Пнин ходил из чистой жалости к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, а если и не совсем, то остатки его искоренила мать, но каким-то образом следы ее детства все-таки сохранились, и прежде чем найти наиболее подходящие места для своей сложной солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, в разбитом гробу, подправленном клейкой лентой, пяти пар прекрасных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них сапожными колодками, кофейной мельницы-кипятильника – хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших взапуски, и семидесяти четырех библиотечных книг, главным образом старых русских журналов, в прочных переплетах Б(иблиотеки) У(эйндельского) К(олледжа),- Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как-то «Птицы у себя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь (Свыше 600 иллюстраций животных, человеческого организма, ферм, пожаров, научно

подобранных)», а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине.

Джоана, которая, быть может, злоупотребляла словом «трогательный», объявила, что она намерена пригласить этого трогательного ученого выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже трогательный ученый и что он уйдет в кинематограф, если она исполнит свою угрозу. Однако, когда Джоана поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что он решил больше не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисль собрались около девяти, и к десяти вечеринка была в полном разгаре,- как вдруг Джоана, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свитере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и держал высоко, так, чтобы она увидела, стакан. Она поспешила к нему – и с ней едва не столкнулся муж, рысью мчавшийся через комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джэка Коккереля, главу Английского отделения, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером – он был один из лучших, если не лучший, имитатор Пнина на кампусе. Между тем его модель говорила Джоане: «В ванной нет чистого стакана, и имеются другие неудобства. Дует от пола и дует от стен». Но д-р Гаген, приятный, прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а в следующую минуту Пнин, получив взамен своего стакана стакан виски с содой и льдом, был представлен профессору Энтвислу.

– Здравствуйте-как-поживаете-хорошо-спасибо,- отбарабанил Энтвисль, превосходно подражая русской речи,- он и в самом деле напоминал добродушного царского полковника в штатском.- Однажды вечером в Париже,- продолжал он, поблескивая глазами,- в кабаре «Уголок» эта декларация убедила пирующую компанию русских в том, что я их соотечественник, изображающий, видите ли, американца.

– Через два-три года,- сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю,- меня тоже будут принимать за американца,- и все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались,

– Мы достанем для вас электрический обогреватель,- конфиденциальным шепотом сказала Пнину Джоана, подавая ему оливки.

– Какой марки электрический обогреватель?- подозрительно спросил Пнин.

– Посмотрим. Других жалоб нет?

– Да – шум мешает,- сказал Пнин.- Я слышу каждый, просто

каждый звук снизу, но, по-моему, теперь не место обсуждать это.

3

Гости начали расходиться. Пнин поплелся наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисль и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег.

– Какая жалость,- сказал профессор Энтвисль,- что мы не можем соблазнить вас навсегда переехать в Гольдвин. У нас Шварц и старик Крэйтс, оба горячие ваши поклонники. У нас есть настоящее озеро. У нас есть все что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин.

– Знаю; знаю,- сказал Клементс,- но эти предложения, которые я теперь то и дело получаю, приходят слишком поздно. Я намерен скоро уйти в отставку, а до тех пор предпочитаю оставаться в своей затхлой, но привычной дыре. Как вам понравился,- он понизил голос,- мсье Блорендж?

– О, он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно, мифического главу Французского отделения, который полагал, что Шатобриан – это знаменитый повар.

– Осторожно,- сказал Клементс.- Первый раз этот анекдот был рассказан о Блоренджe, и так оно и было.

4

На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и подолгу задерживая взор на разных предметах, стараясь философски вообразить, каково будет увидать их снова после пытки и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, опираясь на свою трость и ни на что не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость от наркоза во рту – оттаивавшем, еще полумертвом и отвратительно истерзанном. После этого он несколько дней был в трауре по интимной части своего организма. Он с удивлением понял, что очень любил свои зубы. Его язык – толстый, гладкий тюлень,- бывало, так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры подбитого, но все еще надежного царства, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли в той же старой расселине; теперь же не оставалось ни единой вехи – только большая темная рана, terra incognita десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были поставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому вставили совершенно чужие оскаленные челюсти.

Согласно плану, лекций у него не было; не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер, Прошло десять дней – и вдруг он начал радоваться этой новой игрушке. Это было откровение, восход солнца, это был крепкий рот, полный дельной, алебастровой, гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где жемчужно-розовое, оно улыбалось самому себе, как некий чудный представитель глубоководной флоры. Большой труд о Старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и petite histoire, которую он любовно вынашивал вот уже десять приблизительно лет, наконец, показалась достижимой теперь, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. С началом весеннего семестра его класс не мог не заметить магической перемены, когда он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, слишком ровным, резцам и клыкам, в то время как студент переводил из «Русского языка для начинающих» старого, но крепкого профессора Оливера Брэдстрита Манна (на самом деле от начала до конца написанного двумя тщедушными

тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными) предложение вроде «Мальчик играет со своей няней и своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клементса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет, и с бессвязными восторженными восклицаниями принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал убеждать пораженного, но дружелюбного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все зубы.

– Вы станете, как я, совершенно обновленным человеком,- кричал Пнин.

К чести Лоренса и Джоаны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его уникальному пнинскому достоинству, несмотря на то, что он был скорее род домового, чем квартирант. Он что-то непоправимо испортил в своем новом обогревателе и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая манера утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду – щетка тренькала о пуговицы – по крайней мере минут по пять каждый Божий день. У него был страстный роман со стиральной машиной Джоаны. Несмотря на запрещение подходить к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку; свой носовой платок, кухонные полотенца, груду трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты, – и все ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на бесконечное кувыркание дельфинов, больных вертежом. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться, чтоб не дать, из чисто научного любопытства, мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновой подошве, измазанных глиной и хлорофиллом; туфли затопотали с ужасным нестройным грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв, а Джоана появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять, Тимофей?». Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой чернокожей поденщице, которая приходила по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог («Дездемона,- говорил мне Господь,- этот твой Джордж нехороший человек»), случилось мельком увидеть Пнина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди,- и с тех пор она уверяла, что он святой.

Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Пнина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу; «Извините, я здесь только «пасусь»,- кротко заметил незваный гость (английский которого обогащался с поразительной быстротой), бросив взгляд через приподнятое плечо; но почему-то в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узнанный на полпути к некой идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к нежной духовной гармонии, так как, оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мире подлинной науки. Среди людей встречаются дифференциалы и интегралы, и Клементс с Пниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто вместе рассуждали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней (меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу), или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь espace meublй, по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренсов каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и областных. Очень бывало приятно наблюдать, как эти двое обсуждают какую-нибудь легенду или религию: Тимофей – расцветая амфорическим жестом, а Лоренс рубя рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основой русских «кистевых жестов»: Пнин, в теннисной рубашке, с улыбкой Джоконды на губах, демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов (употребляемых применительно к рукам), как махнуть, всплеснуть, развести: свободный, одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки; драматический, обеими руками, всплеск изумленного отчаяния; и «разъединительное» движение – руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в заключение, очень медленно, Пнин показал, как в международном жесте «грозящего пальца» всего пол-оборота пальца, субтильные, как фехтовальный выверт кисти, превратили русский торжественный символ – указывание вверх («Судия Небесный видит тебя!») – в немецкое наглядное изображение палки – «ужо я тебе!». «Однако, – добавил объективный Пнин,- русская метафизическая полиция тоже очень хорошо может ломать физические кости».

Извинившись за свой «небрежный туалет», Пнин показал пленку группе студентов, и Бетти Блисс, аспирантка, работавшая в Отделении Сравнительной Литературы, где Пнин ассистировал д-ру Гагену, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной фильмы, которую она смотрела в Азиатском отделении. Эта Бетти Блисс, полная, по-матерински добрая девушка лет двадцати девяти, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина.

Десятью годами раньше у нее был любовник – красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, роман с калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того как все ушли, он, в своем новом зубном великолепии, зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони и похлопывал ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев,- сказал Пнин, возвращая ее руку на стол,- должен был валять дурака в шарадах и tableaux vivants для некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а г-жа Пушкина как-то сказала: «Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин», а жена гиганта, гиганта Толстого – подумать только! – на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом!»

Пнин ничего не имел против мисс Блисс. Стараясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел ее приносящей ему плэд или наполняющей его самопищущее перо. Она, несомненно, нравилась ему – но его сердце принадлежало другой.

Кошку, как сказал бы Пнин, в мешке не утаишь. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в середине семестра – когда он получил некую телеграмму и потом расхаживал по комнате по меньшей мере минут сорок,- следует заметить, что Пнин не всегда был холост. Клементсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам подобно просителю в каком-нибудь древнем городе, полном несправедливости, но восстановил равновесие – и все-таки потом наскочил на кочергу и щипцы.

– Я пришел, – сказал он, задыхаясь, – известить вас„вернее, спросить, могу ли я принять гостью в субботу – днем, разумеется.

Это моя бывшая жена, ныне д-р Лиза Винд – может быть; вы слыхали о ней в психиатрических кругах.

5

Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не сразу, не в минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда бессердечная особа отсутствует, а волшебная мука пребывает, и объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной, ныне Винд, они, казалось, выдавали свою суть – как бриллианты чистой воды – только если вызвать их в воображении, – и тогда пустой, слепой, влажный аквамариновый жар трепетал и внедрялся вам под веки солнечной и морской пылью. На самом деле глаза ее были светлой, прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовыми уголками, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбегались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, вздымавшиеся волной над глянцевитым лбом и розовым и снежным лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, было бы трудно найти какой-нибудь изъян в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте.

Пнин, в то время молодой, подающий надежды ученый, и она, тогда больше, чем теперь, напоминавшая ясноглазую русалку, а в сущности такая же, встретились в Париже в 1925 году или около того. У него была реденькая темно-русая бородка (теперь, если бы он не брился, проросла бы только седая щетина – бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос!), и эта раздвоенная монашеская растительность, увенчанная толстым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-Вер, наряду с еще одной, в русском книжном магазине Савла Багрова, на улице Грессе, доставляла ему средства к существованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось двадцать лет, совершенно очаровательная в своем черном шелковом джампере и спортивной юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, д-ром Розеттой Стоун, одним из самых зловредных психиатров того времени; а сверх того Лиза писала стихи – большей частью запинающимся анапестом; собственно, впервые Пнин увидал ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты,

покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не больше чем печальная стилизованная игрушка, найденная на чердаке безделушка, хрустальный шар, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миньятюрной елкой и избушкой из папье-маше Пнин написал ей потрясающее любовное письмо – хранящееся теперь в частной коллекции, – и она прочла его, со слезами жалости к себе, пока поправлялась после глупого романа с литератором, который теперь… Ну, да все равно. Пятеро психоаналитиков, ее близких друзей, в один голос сказали: «Пнин – и тотчас же ребенок». Брак мало в чем изменил их образ жизни – только она переехала в мрачноватую квартиру Пнина. Он продолжал свои занятия по славистике, она – свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и лиловых стихах – о младенце, которого она хочет родить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге (с легкой руки Анны Ахматовой) – каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика, Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в «Уголке» добился того, что милейший Жоржик посвятил свой очередной feuilleton в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музы, на каштановые кудри которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами,- ну, прямо как маленькая Мисс Мичиган или Королева Роз в Орегоне. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку этих бесстыдных излияний с собою, в своем честном бумажнике, и забавлял своих друзей, наивно читая из нее вслух до тех пор, пока она совершенно не истрепалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства, и как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938 года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее «органическое эго», неким д-ром Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка зашла за Лизиными вещами, сказала: «Ну, что, крыса погребная, нет больше бедной девочки – чтобы taper dessus» – и месяца через два от д-ра Винда приплелось немецкое письмо, полное сочувствия извинений и заверяющее lieber Herr Pnin в том, что он, д-р Винд, жаждет жениться на «женщине, которая пришла из Вашей жизни в

мою». Конечно, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь с подрезанными мокрыми стеблями и листом папоротника, да еще завернутые так же изящно, как в пахнущей землей цветочной лавке в Светлое Воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало; но выяснилось, что у д-ра Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая не хотела, чтобы ее беспокоили до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее планы. Между тем Новый Свет начал манить и Пнина; из Нью-Йорка большой его друг, профессор Константин Шато, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил д-ра Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на странице 202-й. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами (к вящему удовольствию Советов) для обладателей злосчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам (что-то вроде отпускного билета освобожденному из тюрьмы под честное слово), когда в сырой апрельский день 1940 года у его двери раздался резкий звонок, и в квартиру ввалилась Лиза, отдуваясь и как комод неся перед собою семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли, и объявила, что все это было ошибкой, и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно, хотя бы и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина – это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства – и созревание виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего фальшивый стетоскоп к съежившемуся сердцу Пнина сквозь его одежду, и добрая русская дама (моя родственница), которая так помогла в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый пароход – на всем был драгоценный, сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда он появится, но страстно желал этого, и она с довольным, несколько коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышит первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила засахаренный миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами, что-то от гладкой шелковистости этих dragйes запало в его сознание, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, ее безупречных зубах.

Немного разочаровало то, что, едва поднявшись на борт и бросив взгляд на вздымавшееся море, она сказала: «Ну, это извините», и тотчас удалилась в чрево корабля, где и провела большую часть пути, лежа на спине в каюте, которую делила с болтливыми женами трех неразговорчивых поляков – борца, садовника и парикмахера, – доставшихся в соседи Пнину. Оставшись сидеть на третий вечер путешествия в кают-компании после того, как Лиза давно уже ушла спать, он охотно согласился сыграть партию в шахматы с бывшим издателем одной франкфуртской газеты, меланхолическим старцем с мешками под глазами, в свитере с воротником «хомут» и гольфных штанах. Ни тот, ни другой не были хорошими игроками; оба имели склонность к эффектным, но совершенно необоснованным жертвам фигур; каждый очень уж хотел выиграть; и дело еще оживлялось пнинским фантастическим немецким языком («Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt».). Тут подошел другой пассажир, сказал entschuldigen Sie, нельзя ли ему посмотреть на их игру? и сел возле. У него были рыжеватые, коротко подстриженные волосы и длинные блеклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы; на нем был поношенный двубортный пиджак, и вскоре он уже тихонько щелкал языком и качал головой всякий раз, когда старец после долгого и важного раздумья подавался вперед, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот полезный зритель, явный знаток, не удержался и, толкнув назад пешку, которой только что пошел его соотечественник, указал дрожащим указательным перстом на ладью, которую старый франкфуртец моментально внедрил подмышку защиты Пнина. Наш друг, разумеется, проиграл и собрался было покинуть залу, как вдруг знаток догнал его и сказал entschuldigen Sie, нельзя ли ему минутку поговорить с Херр Пнин? («Как видите, мне известно ваше имя»,- заметил он мимоходом, подняв свой вездесущий указательный палец) – и предложил зайти в бар выпить пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец продолжал: «В жизни, как и в шахматах, всегда следует анализировать свои побуждения и намерения. В день, когда мы поднялись на борт, я был словно резвое дитя. Однако уже на следующее утро я начал опасаться, что проницательный супруг – это не комплимент, а ретроспективное предположение – рано или поздно просмотрит список пассажиров. Сегодня совесть судила меня и признала виновным. Я больше не могу терпеть обмана. Ваше здоровье. Это, конечно, не то, что наш немецкий нектар, но все же лучше, чем кока-кола. Меня зовут Эрих Винд; увы, это имя вам небезызвестно».

Пнин, молча, с искаженным лицом, все еще держа ладонь на мокрой стойке, начал неуклюже сползать с неудобного грибовидного сиденья, но Вина положил пять длинных чутких пальцев на его рукав.

– Lasse mich, lasse mich,- взвыл Пнин, пытаясь стряхнуть бескостную заискивающую руку.

– Пожалуйста! – сказал д-р Винд.- Будьте же справедливы. Последнее слово всегда за осужденным – это его право. Это признают даже нацисты. И прежде всего – я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по крайней мере половину ее билета.

– Ach nein, nein, nein,- сказал Пнин.- Прекратим этот кошмарный разговор (diese koschmarische Sprache).

– Как вам угодно,- сказал д-р Винд и принялся внушать связанному Пнину следующие пункты. Что это была всецело Лизина идея – «упрощая, знаете ли, дело ради нашего ребенка» («нашего» звучало тройственно); что Лиза очень больная женщина и нуждается в особом уходе (беременность – просто сублимация позыва к смерти); что он (д-р Винд) женится на ней в Америке – «куда я также направляюсь», добавил д-р Винд для ясности; и что он (д-р Винд) просил бы позволить ему заплатить по крайней мере за пиво. После чего до конца путешествия, которое из серебристо-зеленого превратилось в однообразно-серое, Пнин откровенно ушел в свои английские учебники, и хотя был с Лизой неизменно кроток, старался видеться с ней настолько редко, насколько это было возможно, не возбуждая ее подозрений. Время от времени д-р Винд появлялся откуда ни возьмись и издали знаками приветствовал и подбадривал его. И когда, наконец, величавая статуя выросла из утренней дымки, где, готовясь вспыхнуть на солнце, стояли бледные зачарованные здания, похожие на те таинственные, разной высоты прямоугольники, которые видишь на диаграммах сравнительно-наглядных процентных соотношений (природные богатства, частота миражей в различных пустынях), д-р Винд решительным шагом подошел к Пниным и назвал себя – «поскольку мы все трое должны с чистым сердцем ступить на землю свободы». И после нелепо-комической задержки на Эллис Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кой-какие осложнения – но в конце концов Винд женился на ней. В продолжение первых пяти лет жизни в Америке Пнин несколько раз видал ее мельком в Нью-Йорке; он и Винды были натурализованы в один и тот же день; затем, после его отъезда в Уэйндель в 1945 году, лет шесть прошло без встреч и без переписки. Однако время от времени до него доходили слухи о ней. Не так давно (в декабре 1951) его друг Шато прислал ему номер журнала по психиатрии со статьей, написанной д-ром

Альбиной Дункельберг, д-ром Эрихом Виндом и д-ром Лизой Винд по поводу «Групповой психотерапии в применении к консультациям по проблемам брака». Пнину всегда бывало неловко за Лизины «психоослиные» интересы, и даже теперь, когда ему должно было быть все равно, его передернуло от отвращения и жалости. Они с Эрихом работали под началом великого Бернарда Мэйвуда, добродушного гиганта – которого прекрасно приспособлявшийся Эрих именовал «Боссом» – в Исследовательском отделе при «Центре Планирования Семьи». Одобренный своим и жены покровителем Эрих разработал остроумную (может быть, не ему принадлежавшую) идею загонять наиболее податливых и глупых клиентов Центра в психотерапевтическую ловушку – кружок «устранения напряженности», что-то вроде группового шитья стеганых одеял, где молодые замужние женщины, группами по восемь человек, раскрепощались в уютной комнате в обстановке непринужденной, живой, с обращением по имени, беседы в присутствии докторов за столом перед группой и скромно записывавшего секретаря посреди травматических эпизодов детства, всплывавших там и сям подобно трупам, На этих собраниях дам заставляли с полнейшей откровенностью обсуждать между собой свои брачные проблемы, что, разумеется, приводило к сопоставлению наблюдений над мужьями, которых потом тоже интервьюировали в особой «группе мужей», тоже весьма непринужденной, где они щедро угощали друг друга сигаретами и анатомическими диаграммами. Пнин пропустил доклады и отдельные случаи,- и здесь не к чему вдаваться в эти уморительные подробности. Достаточно сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того как та или другая дама побывала дома, она возвращалась прозревшая, и потом расписывала новое ощущение своим все еще заблокированным, но восторженным подругам, звонкая нота сектантского бдения приятно окрашивала дискуссию. («Ну, вот, милые, когда Джордж прошлой ночью…») И это еще не все, Д-р Эрих Винд намеревался разработать метод, который позволил бы соединить всех этих мужей и жен в общую группу. Кстати, мороз подирал по коже, когда они с Лизой облизывались, произнося слово «группа». В длинном письме к приунывшему Пнину профессор Шато утверждал, что д-р Винд даже сиамских близнецов называет «группой». И верно: прогрессивный идеалист Винд мечтал о счастливом мире, состоящем из сиамских сотен, анатомически соединенных коммун, целых наций, созданных вокруг коммунальной печени, «Вся эта психиатрия – просто микромирок коммунизма»,- ворчал Пнин, отвечая Шато, «Отчего не оставить людям их личные

горести? Как будто горе не единственное, что действительно принадлежит человеку на этом свете!»

6

– Вот что,- сказала Джоана мужу в субботу утром,- я решила сказать Тимофею, что сегодня от двух до пяти дом предоставляется им. Мы должны дать этим трогательным существам все возможности. У меня есть дела в городе, а ты будешь отвезен в библиотеку.

– Дело в том,- отвечал Лоренс,- что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть отвезенным или вообще перемещенным куда бы то ни было. Кроме того, в высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось восемь комнат.

Пнин надел свой новый коричневый костюм (за который было заплачено кремонской лекцией) и, наспех позавтракав в «Яйцо и Мы», пошел через парк с островками снега к Уэйндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем было нужно. Он не стал думать, почему, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его, возвращаясь из пансиона Св. Варфоломея, под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын; он знал только, что волна счастья пенилась в нем и росла за невидимой преградой, которая вот-вот должна была прорваться. Он встретил пять автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно в веренице выходивших пассажиров, но автобусы один за другим пустели, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос («Тимофей, здравствуй!») позади себя и, резко обернувшись, увидал, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель? Господи Боже мой, да какая там могла быть перемена! Это была она. Ей всегда было жарко, и все в ней кипело, даром что прохладно и теперь вот ее котиковая шубка была настежь распахнута, открывая сборчатую блузку, когда она охватила голову Пнина и он почувствовал помплимусовый аромат ее шеи, и все бормотал «ну-ну, вот и хорошо, ну вот» – жалкие словесные подпорки сердца – а она крикнула: «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «Осторожно» и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то, в этой именно, последовательности…

Эта школа, говорила она ему пока они проезжали по Парковой, в английской традиции. Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албани. Эта школа «очень фэнси»,- сказала она по-английски,- мальчики играют в зале во что-то

вроде тенниса, руками, и в одном классе с ним будет – она с фальшивой небрежностью произнесла известную американскую фамилью, которая Пнину ничего не говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Между прочим,- прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая,- отсюда можно видеть уголок кампуса». Все это благодаря («вижу, вижу, кампус как кампус»), все это, включая стипендию, благодаря влиянию д-ра Мэйвуда («знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь черкнул ему несколько слов, просто из любезности»). Директор (священник) показал ей трофеи, которые Бернард выиграл мальчиком. Эрих, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но его переспорили. Жена преподобного Хоппера – племянница английского графа.

– Вот мы и приехали. Вот и мои палаты,- пошутил Пнин, который никогда не мог поспеть за ее быстрой речью.

Они вошли – и он внезапно почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким лютым нетерпением, проходит слишком уж скоро – уходит, уходит, вот-вот совсем пройдет через несколько минут. Быть может, думал он, если бы она сразу сказала, что ей от него нужно, день бы замедлился и стал бы в самом деле радостным.

– Какой жуткий дом, – сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботики – такие знакомые движения. – Ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть, это ужасные люди.

– Нет, – сказал Пнин, – они мои друзья. – Мой милый Тимофей, – говорила она, пока он эскортировал ее наверх, – в свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья.

– А вот моя комната, – сказал Пнин. – Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Через минутку я прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так великолепно чувствовала себя весь день.

– У меня есть аспирин. – М-м, – сказала она, и на фоне ее родной речи это новоприобретенное отрицание звучало непривычно.

Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали на пол, напомнил ему очень далекие дни.

Она откинулась – черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, – одной розовой рукой прикрыв глаза.

– Как вы вообще? – спросил Пнин (только бы она сказала, что ей нужно, поскорей!), опускаясь в белую качалку возле радиатора.

– У нас очень интересная работа, – сказала она, все еще заслоняя глаза, – но я должна тебе сказать, я больше не люблю Эриха. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих

недолюбливает сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной.

Пнин начал смеяться: он покатывался со смеху; под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые. С минуту она с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки, потом продолжала:

– У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Не знаю, сколько раз мальчик должен был в своих снах убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы, вместо того, чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. Какое у тебя жалованье, Тимофей?

Он сказал. – Ну,- сказала она,- это не густо. Но, я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать – этого больше чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей.

Ее живот, туго схваченный черной юбкой, два-три раза подпрыгнул, с немой, уютной, добродушно-припоминающейся иронией – и Пнин высморкался, одновременно качая головою и сладострастно и весело наслаждаясь.

– Послушай мое последнее стихотворение, – сказала она, вытянув руки по швам и лежа совершенно прямо на спине, и принялась мерно выпевать протяжным, грудным голосом:

Я надела темное платье,
И монашенки я скромней;
Из слоновой кости распятье
Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий
Прожигают мое забытье,
И шепчу я имя Георгий-
Золотое имя твое!

– Это очень интересный человек, – продолжала она без всякого перерыва. – В сущности, он англичанин. На войне он управлял бомбардировщиком, а теперь он в фирме биржевых маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и так далее, но его разорили во Флориде какие-то евреи-гангстеры, и он добровольно сел в тюрьму за другого: это семья героев.

Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в

беленых органных трубах.

– Я сделала Эриху полный доклад, – со вздохом продолжала Лиза, – и теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду ему помогать. К сожалению, я уже помогаю George'у.

Она произнесла George по-русски – оба g твердые, оба e долгие. – Ну, что ж, c'est la vie, как остроумно выражается Эрих. Как ты можешь спать под этой паутинной ниткой с потолка? – Она посмотрела на часы – Боже мой, я же должна успеть на автобус в половине пятого. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь.

Вот оно, наконец,- так поздно.

Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика – потому что она ведь не может теперь просить Бернарда Мэйвуда – и она может умереть – а Эриху безразлично, что бы ни случилось – и кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, как бы от матери – ну, знаешь, на карманные расходы – вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кой-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей – душка. («Ну, какой же ты душка»). А теперь – где тут уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора.

– Кстати, – сказала она, пока он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, а сна тыкалась руками и шарила,- знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится: джентльмен не носит коричневого.

Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее, удержать бы – какую ни на есть – жестокую, вульгарную, с ослепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, низкой, инфантильной душой. Ему вдруг пришло в голову: если люди соединяются на небесах (я в это не верю, но предположим), то как смогу я помешать ей наползать на меня, через меня, этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе? Но здесь земля, и я, как это ни странно, живу, и что-то есть во мне и в жизни, что -

Казалось, что совершенно неожиданно (ибо отчаянье редко приводит к великим открытиям) он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки, но его перебили настойчивой просьбой. Из-под дерева белка увидела Пнина на тропке. Одним гибким и цепким движением умный зверек взобрался на край фонтанчика для питья, и когда Пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось нажать. Презрительно посматривая на

него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного, искрящегося столбика воды и пила довольно долго. У нее, должно быть, жар, подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок и в то же время стараясь не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду, белка, не выказав ни малейшей признательности, скрылась.

Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

7

Когда в четверть шестого Джоана с полным мешком провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиа-письмо экспресс от дочери. Прошло более трех недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне она благополучно добралась до города мужа. Манипулируя свертками, Джоана разорвала конверт. Это было восторженно-счастливое письмо, и она одним духом проглотила его, – от облегчения у нее перед глазами все как-то поплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом с минутным удивлением увидела ключи Пнина, свисавшие подобно грозди его драгоценных внутренностей из замка вместе с кожаным футлярчиком; она воспользовалась ими, чтобы открыть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из кухонного чулана громкий анархический перестук: шкафы один за другим отворялись и захлопывались.

Она положила мешок и пакеты на буфет на кухне и спросила в направлении чулана: «Что вы там ищете, Тимофей?»

Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взором; она была потрясена, увидев его лицо со следами неотертых слез.

– Я ищу, Джоан, виски и минеральную воду, – сказал он трагически.

– Кажется, минеральной воды нет, – ответила она со своей ясной англо-саксонской невозмутимостью. – Зато виски в столовой, в шкапчике, сколько угодно. Но, по-моему, нам лучше выпить горячего чайку.

Он сделал русский жест «я сдаюсь». – Нет, мне, в сущности, ничего не надо, – сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом. Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов. – Посмотрите картинки, Тимофей.

– Не надо, Джоана. Вы ведь знаете – я не понимаю, что тут объявление, а что нет

– Вы просто отдыхайте, Тимофей, а я буду объяснять. О, посмотрите,- это мне нравится. Очень остроумно, Тут у нас комбинация двух идей – Необитаемый Остров и Воображаемая Девушка. Тимофей, ну, посмотрите, пожалуйста,- он нехотя надел очки для чтения,- это вот необитаемый остров с одной-единственной пальмой, а это остатки разбитого плота, тут – моряк, потерпевший крушение, а это вот – кошка с Корабля, которую он спас, ну а здесь, на камне…

– Невозможно,- сказал Пнин.- Такой маленький остров, да еще с пальмой, не может существовать в таком большом море.

– Ну, а здесь он существует.

– Невозможная изоляция,- сказал Пнин. – Да, но – право, Тимофей, это недобросовестно. Вы ведь отлично знаете, что согласны с Лором в том, что мышление основано на компромиссе с логикой.

– С оговорками,- сказал Пнин.- Прежде всего, логика сама -

– Ну, хорошо, хорошо,- мы забыли о нашей картинке. Взгляните же на нее. Вот, значит, моряк и вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка, а теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой.

– Взрыв атомной бомбы,- грустно сказал Пнин. – Нет, совсем не то, Гораздо забавнее. Видите ли, эти круглые облачки как бы проэкции их мыслей. И вот мы, наконец, подбираемся к смешному. Матрос мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает цельную рыбу.

– Лермонтов,- сказал Пнин, подымая два пальца,- выразил все о русалках в двух только стихотворениях. Я не в силах понимать американский юмор даже когда я счастлив, а должен сказать – Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился заглушенными рыданиями.

Она слышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоренс, крадучись с шутливой таинственностью, заглянул на кухню. Правой рукой Джоана махнула ему, чтобы не входил, левой указывая на конверт с радужной каемкой, лежавший поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы конспектом письма Изабеллы; он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачась, вышел.

Бессмысленно могучие плечи Пнина все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку: игрушечно-яркие крошки-школьники; Изабелла и дочь Гагенов; тенистые деревья, пока еще не у дел; белый шпиль; уэйндельские колокола.

– Она не хочет возвращаться? – тихо спросила Джоана. Пнин – голова на сгибе локтя – начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком.

– У меня ничего нет,- стонал Пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями.- У меня ничего, никого нет!

Глава третья

1

За восемь лет преподавания в Уэйндельском университете Пива по разным причинам (главным образом, звукового характера) менял жилье чуть ли не каждый семестр. Накопленная в его памяти, вся эта череда комнат казалась теперь выставкой сгруппированных кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, перемешались теперь в мягком освещении мебельного магазина, за которым идет снег, сумерки сгущаются и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты уэйндельского периода выглядели особенно нарядно в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в квартале, памятном из-за бумажного мусора вдоль края панели, с блестевшей собачьей кучей, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали бил мячом о ступени высокого бурого крыльца; но даже эта комната казалась Пнину (в голове которого все еще отдавался стук мяча) прямо щегольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью, пристанищем его долгой среднеевропейской, нансенско-паспортной эпохи.

Однако с годами Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Уэйндель был тихий городишко, а Уэйндельвиль, лежавший среди холмов, и подавно; но не было такого места, которое показалось бы Пнину достаточно тихим. В самом начале его здешней жизни у него была однокомнатная квартира в тщательно обставленном Университетском Доме Холостых Преподавателей, очень милом заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта («Пнин, сыграемте в пинг-понг?» – «Я уже не играю в детские игры»); но потом появились какие-то рабочие и принялись сначала буравить дыры на улице – улице Черепной Коробки в Пнинграде – а потом заделывать их, и опять сверлить, и это продолжалось – приступами черных зигзагов, сменявшихся оглушенными паузами – по целым неделям, и, казалось, что им уже никогда не отыскать того бесценного инструмента, который они по ошибке закопали тут. Была еще комната (если выбирать там и сям только главных обидчиков) в абсолютно непроницаемом на первый взгляд «Герцогском павильоне» в

Уэйндельвиле: восхитительный kabinet, над которым, однако, каждый вечер начинался (перемежаясь грохотом каскадов в уборной и буханьем дверей) угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах – образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его верхних соседей, каковыми оказались Стары, из Отделения Изящных Искусств («Меня зовут Христофор, а это Луиза»), ангельски кроткая чета, живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня-кабинет (в других меблированных комнатах), где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка; но как только грозная Уэйндельская зима стала проникать в этот уют своими острыми сквознячками (дуло не только от окна, но даже из шкапа и из штепселей), комната обнаружила род какого-то помешательства или мистической мании – именно, началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора Пнина. Он пробовал приглушить ее одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тэер не перевезли в больницу, где она и скончалась, после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка.

Испробовал он и обиталища другого типа: снимал комнаты в частных домах, которые хотя и во многом отличались друг от друга (не все, например, были дощаты: попадались и оштукатуренные, или хотя бы отчасти оштукатуренные), имели одну общую черту: на этажерках в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Виллем ван Лун и д-р Кронин; их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов, или какой-нибудь глянцевитый и добротный исторический роман, или даже имперсонирующая кого-нибудь г-жа Гарнетт (в таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулуз-Лотрека), но эта пара непременно присутствовала, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании.

2

На время он вернулся в Университетский дом, но тогда туда вернулись и бурильщики мостовой, да к тому же там объявились и другие раздражающие минусы. Теперь Пнин снимал спальню (розовые стены, белые воланы) во втором этаже клементсовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, которую он занимал больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940 году.

Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина: Джоана Клементс отправилась самолетом в западный штат навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, на Запад улетел и профессор Клементс, которого вызвали телеграммой.

Наш приятель не спеша съел брекфаст на основе молока, которое продолжали поставлять, и в половине десятого собрался по обыкновению пройтись пешком в университет.

Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю его российско-интеллигентский способ надевать пальто: его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у Герцогини из Страны Чудес, подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашнэ, удерживая его на груди, между тем как он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу; еще рывок, и пальто надето.

Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон. Он отошел от крыльца на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют на него газеты, как вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. Одно мгновение он боролся с собой: эта книга была еще нужна ему; но добрый Пнин слишком сильно сочувствовал страстному воплю другого (неведомого) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18-й – посвященный в основном Толстому – «Советского Золотого Фонда Литературы, Москва-Ленинград, 1940».

3

Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть: гортань, небо, губы, язык (полишинель этой группы) и, наконец,- и не в последнюю очередь – нижняя челюсть, на преувеличенное и несколько жевательное движение которой по преимуществу полагался Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его русский язык был музыкою, то его английский был ужасен. Ему с огромным трудом («дзификультси», на пнинском английском) давалась депалатализация и он так и не научился избавляться от излишней влаги русских «т» и «д» (перед гласными), которые он так забавно смягчал. «Hat» /шляпа/ у него звучало как взрыв: «Я никогда не ношу шляпы, даже зимой»,- и отличалось от обычного американского произношения «hot» /жарко/ (свойственно, например, уэйндельским жителям) только своей краткостью, и оттого очень походило на немецкий глагол «hat» /имеет/. Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие: его «no» /нет/ было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание: «Вас подвезти, г-н Пнин? – Но-но-но, мне отсюда всего два шага». Он не владел (не подозревая, впрочем, об этом) долгим «у»: то, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «noon» /полдень/, было рыхлым гласным немецкого «nun» /теперь/ («По вторникам у меня нет классов днем») /«ин дзе афтернун»/. Сегодня вторник»).

Вторник-то вторник, но какое сегодня число, спросим мы. День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля по Юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898 году. Он теперь никогда не праздновал его, – отчасти потому, что после того, как он покинул Россию, этот день как-то незаметно проскальзывал в Грегорианской маске (с опозданием на тринадцать – нет на двенадцать дней), отчасти же потому, что в продолжение академического года его жизнь главным образом следовала ритму «повтосрече – пясувас».

Вот он вывел дату на черной, затуманенной мелом, доске /блэкборд/, которую остроумно именовал «серой» /грэйборд/. Он еще ощущал в локтевом сгибе тяжесть Зол. Фонд Лит. Написанная на доске дата не имела никакого отношения к тому дню, который теперь был в Уэйнделе: «26 декабря 1829».

Он старательно ввинтил толстую белую точку и прибавил пониже: «3.03 пополудни. Санкт-Петербург».

Это все послушно переписали Франк Бакман, Роза Бальзамо,

Питер Волков, Ирвинг Д. Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Кэрроль, Джон Мид и Аллан Брэдбери Уолш.

Пнин снова уселся за стол, зыблясь безмолвным весельем: у него для них был приготовлен рассказ. Эта строка в абсурдной русской грамматике, «Брожу ли я вдоль улиц шумных», была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений («Мама, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль»), он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увести своих студентов на литературную или историческую экскурсию.

На протяжении восьми четырехстопных четверостиший Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку – где бы он ни был, чем бы ни был занят – предаваться размышлениям о смерти и тщательно исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую «грядущую годовщину»: день и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне.

«‚And where will fate send me' – будущее несовершенное-'death'» – вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью – 'in fight, in travel, or in waves? Or will the neighboring dale' – то же, что по-русски «долина», или, как мы сказали бы теперь – 'valley' – 'accept my refrigerated ashes', poussiere 'cold dust', может быть, так точнее…-«'And though it is indifferent to the insensible body…'»

Пнин дошел до конца, а потом, театральным жестом указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения.

– Но,- воскликнул Пнин с торжеством,- он умер в совсем, совсем другой день! Он умер,- спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловещий треск, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом.

(Когда-то, где-то – Петербург? Прага? – один музыкальный клоун вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот как ни в чем не бывало продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Где же? В цирке Буша в Берлине!)

4

В перерыве между отпущенной начальной группой и уже набиравшейся старшей Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где сейчас на картотеке лежал Зол. Фонд Лит., полузавернутый в пнинский зеленый шарф, помещался на другом этаже, в конце гулкого коридора, по соседству с профессорской уборной. До 1950 года (а теперь у нас 1953-й – как летит время!) у него был в Германском отделении общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет Р, прежде служивший чуланом, но теперь заново отделанный. В продолжение весны он любовно пнинизировал его. Получил он его с двумя убогими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестянкой мастики для пола и непритязательным письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Молодой Мюллер под руководством Пнина обнял и притащил пнинскую часть разборного книжного шкапа. У старой г-жи Мак-Кристаль, в белом деревянном доме которой Пнин однажды не очень удачно прожил зиму (1949-1950), он приобрел за три доллара выцветший, некогда турецкий, коврик. С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей – доставляющий высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое «тикондерога-тикондерога», поедая мягкую, с желтой каемкой, древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неземную пустоту, что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например, завести кресло и торшер. Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а свою мебель – сдвинутой в темный стол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и подстать ему вертящегося стула, на котором сидел, что-то строча и улыбаясь самому себе, недавно импортированный австрийский ученый, д-р Бодо фон Фальтернфельс; и с той поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет Р. утратил свою привлекательность.

5

В полдень Пнин по обыкновению вымыл руки и голову.

Из кабинета Р он забрал пальто, кашнэ, книгу и портфель. Д-р Фальтернфельс писал и улыбался; его сандвич был наполовину развернут; собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через Музей Ваяния. Здание Гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также Орнитология и Антропология, соединялось с другим кирпичным зданием, Фриз-Холлом, где помещался профессорский клуб, посредством довольно затейливой решетчатой галлереи: она сперва поднималась отлого, потом круто поворачивала и брела вниз, навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами; но сейчас ее наготу насквозь продувал ледяной ветер, и кто-то надел найденную красную рукавицу на трубку мертвого фонтана, от которого ответвление галлереи вело к дому президента.

Президент Пур, высокий, степенный, пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп. Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся в Фриз-Холле, ведомый своей племянницей и секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя в своей собственной тьме к незримому завтраку, и хотя все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки пока его подводили к его резному стулу и он ощупывал край стола, неизменно набегала тень тишины; и странно было видеть прямо позади него, на стене, его стилизованное изображение в сиреневом двубортном костюме и терракотовых башмаках, глядящее сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием,- эту группу лет десять назад Олег Комаров из Отделения Изящных Искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938 года, которая вела кругом всей столовой процессию исторических лиц и Уэйндельских профессоров.

Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров, сын казака, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой, его крупной, радушной москвичкой-женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свисал до ее большого, мягкого живота, время от времени устраивали «русские» вечера, с «русскими» закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями – и там

застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям; и, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег (она – возводя глаза к небесам, он – прикрыв свои рукою), бывало, бормотали, благоговейно изумляясь собственной щедрости: «Господи, сколько мы им даем!» – разумея под «ними» темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской Церкви и гидро-электростанций. Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии приглушенной вражды, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых «чудными людьми» и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец и Пнин большие друзья.

Не прибегая к очень специальному исследованию было бы трудно сказать, кто из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски; пожалуй, Пнин; но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова, и Комарова это бесило даже больше, чем «антикварный либерализм» Пнина.

– Послушайте, Комаров,- (несколько бесцеремонное обращение) сказал Пнин.- Я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга; уж наверное не моим студентам, а если вам, то не понимаю, к чему она вам,

– Ни к чему,- ответил Комаров, мельком взглянув на книгу.- Нот интерестид (Не интересуюсь),- добавил он по-английски.

Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат.

6

Был вторник, и, значит, он мог пойти в свое излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Уэйндельского колледжа не соединялась никакими галлереями с другими зданиями, но она была сокровенно и прочно соединена с сердцем Пнина. Он шел мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза – в спортивной кепке и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на который он был обречен вечно собираться сесть, судя по его левой ноге, навеки приклеившейся к левой педали. Снег лежал на сиденье, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы», негодовал Пнин, качая головой – и слегка поскользнулся на плитняке дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистых ильмов. Помимо толстого тома под правой рукой он нес в левой свой старый, среднеевропейского типа, черный портфель, и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии.

Вытянувшаяся эллипсом голубиная стая в круговом полете – то серая (паренье), то белая (взмах крыльев), и вот опять серая – колесила по прозрачному бледному небу над Университетской библиотекой. Вдали печально, как в степи, свистнул поезд. Щуплая белка сиганула через залитый солнцем снежный островок, на котором тень от ствола, оливково-зеленая на дерне, делалась дальше серо-голубой, а само дерево, коротко поскрипывая, голо поднималось к небу, где в третий, и последний, раз пронеслись голуби. Белка, теперь невидимая в развилине, затараторила, распекая злоумышленников, которые могли бы согнать ее с дерева. Пнин снова поскользнулся на грязном черном льду брусчатой тропинки, резко выбросил одну руку, выправился и, одиноко улыбнувшись, нагнулся, чтобы подобрать Зол. Фонд Лит., при падении раскрывшийся на снимке русского луга, по которому по направлению к фотографическому аппарату брел Лёв Толстой, а за ним долгогривые лошади, тоже повернувшие к фотографу свои наивные головы.

В бою ли, в странствии, в волнах? На кампусе в Уэйнделе? Тихо почмокивая искусственной челюстью, к которой пристала клейкая полоска творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Подобно многим пожилым профессорам Пнин давно перестал

замечать существование студентов на кампусе, в коридорах, в библиотеке – одним словом, повсюду, кроме их функционального присутствия в классных комнатах. Сначала его чрезвычайно удручал вид иных из них, положивших свои бедные молодые головы на руку и крепко спавших посреди развалин науки; но теперь он уже никого не замечал в читальной зале, если не считать видневшихся там и сям изящных девичьих затылков.

За абонементным столом сидела миссис Тэер. Ее мать приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клементс.

– Как поживаете, профессор Пнин?

– Я поживаю очень хорошо, миссис Файер.

– Что, Лоренс и Джоана не вернулись еще?

– Нет. Я принес эту книгу обратно, потому что я получил эту открытку -

– Неужели бедняжка Изабелла в самом деле хочет разводиться?

– Я не слыхал. Разрешите мне спросить, миссис Файер -

– Наверное, придется нам найти для вас другую комнату, если они привезут ее с собой.

– Разрешите у вас кое-что спросить, миссис Файер. Вот открытка, которую я получил вчера – не могли бы вы сообщить мне, кто этот другой читатель?

– Сейчас проверим.

Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин; том 18-й был затребован им в прошлую пятницу. Правда было и то, что этот восемнадцатый том уже числился за этим же Пниным, который держал его с Рождества и теперь стоял, положив на него руки, напоминая фамильный портрет какого-то судьи.

– Этого не может быть! – воскликнул Пнин.- В пятницу я заказал том девятнадцатый тысяча девятьсот сорок седьмого года, а не восемнадцатый тысяча девятьсот сорокового.

– Но посмотрите – вы написали «том 18». Во всяком случае, девятнадцатый еще не зарегистрирован. Этот вы оставляете у себя?

– Восемнадцатый, девятнадцатый,- бормотал Пнин,- разница небольшая. Я правильно указал год, вот что важно! Да, мне еще нужен восемнадцатый, и пришлите мне более толковую открытку, когда девятнадцатый будет готов.

Слегка поварчивая, он отнес громоздкую сконфуженную книгу ~ в свою любимую нишу, и там оставил ее, завернув в кашнэ.

Эти женщины не умеют читать. Год был указан совершенно ясно. Как обычно, он отправился в комнату периодики и

пробежал там раздел новостей в последнем (за субботу, 12 февраля,- а сегодня вторник, О, Невнимательный Читатель!) номере русской ежедневной газеты, издававшейся с 1918 года эмигрантской группой в Чикаго. По обыкновению, он внимательно прочитал объявления. Д-р Попов, сфотографированный в своем новеньком белом халате, сулил пожилым людям прилив новых сил и веселья. Музыкальная фирма печатала перечень предлагаемых покупателю русских граммофонных пластинок вроде вальса «Разбитая жизнь» и «Песенки фронтового шофера». Несколько гоголевский хозяин похоронного бюро расхваливал свои люксовые катафалки, которые могли быть использованы и для пикников. Другой гоголевский персонаж из Майами предлагал «двухкомнатную квартиру для непьющих; вокруг фруктовые деревья и цветы», а в Хаммонде с задумчивой грустью отдавалась внаем комната в «небольшом тихом семействе», и вдруг без всякой особенной причины, с горячей и абсурдной ясностью, читавший увидел своих родителей- g-ра Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим, сидевших в креслах один против другого в небольшой, весело освещенной гостиной на Галерной; в Петербурге, сорок лет назад.

Просмотрел он и свежее продолжение чрезвычайно длинной и скучной полемики трех эмигрантских течений. Ее затеяла Группа А, обвинившая Группу В в инертности, иллюстрируя это пословицей «И рад бы на елку забраться, да только боюсь ободраться». В ответ появилось едкое письмо к издателю от «Старого оптимиста», озаглавленное «Елки и инертность» и начинавшееся так: «Есть старая американская поговорка: «Живущему в стеклянном доме не следует пытаться убить двух птиц одним камнем». В последнем номере был фельетон в две тысячи слов – вклад представителя Группы С – под названием «О Елках, Стеклянных Домах и Оптимизме», и Пнин прочел его с живым интересом и участием.

Затем он вернулся в свою каморку к своим изысканиям. Он замышлял написать Petite Histoire русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, литературных анекдотов и так далее, было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре la Grande Histoire. Великая Взаимосвязь Событий. Он был еще в блаженной стадии сбора материалов, и много хороших молодых людей почитало за удовольствие и честь наблюдать за тем, как Пнин извлекает ящик с каталогом из обширной утробы картотеки и несет его, как большой орех, в уединенный уголок и там добывает себе из него скромную духовную пищу,- то шевеля губами в беззвучных замечаниях – критических, довольных,

недоумевающих,- то подымая свои зачаточные брови и забывая их высоко на просторном челе, где они оставались еще долго после того, как всякого неудовольствия или сомнения простывал и след. Ему повезло, что он оказался в Уэйнделе. Как-то в девяностых годах гостеприимную Россию посетил выдающийся библиофил и славист Джон Тэрстон Тодд (его бородатый бюст красовался над питьевым фонтанчиком), а после его смерти книги, которые он там собрал, были преспокойно свалены в отдаленное хранилище. Надев резиновые перчатки, чтобы избежать уколов «американского» электричества, обитавшего в металлических полках, Пнин, бывало, навещал эти книги и упивался их видом: малоизвестные журналы бурных шестидесятых годов в мрамористых обложках; столетней давности исторические монографии, дремотные страницы которых покрыты были рыжими пятнами плесени; русские классики с ужасными и трогательными камеями на переплетах, с тиснеными на них профилями поэтов, напоминавшими прослезившемуся Тимофею его отрочество, когда он, бывало, машинально водил пальцем по несколько потертому пушкинскому бакенбарду или запачканному носу Жуковского.

Сегодня Пнин, с отнюдь не горестным вздохом, приступил к выписыванию из объемистого труда Костромского о русских легендах (Москва, 1855) – редкой книги, которую не позволялось уносить из библиотеки,- места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским ритуалом. Всю праздничную майскую неделю – так называемую Зеленую неделю, постепенно превратившуюся в Неделю Пятидесятницы,- деревенские девушки свивали венки из лютиков и любки; потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, распевая отрывки старинных любовных песен; а в Троицын день венки стряхивались в реку и плыли, развиваясь словно змеи, и девушки плавали среди них и пели.

Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация; он не успел схватить ее за русалочий хвост, но сделал пометку на справочной карточке и снова погрузился в Костромского.

Когда Пнин снова поднял глаза, оказалось, что пора идти обедать.

Сняв очки, он потер костяшками державшей их руки свои обнаженные утомленные глаза и все еще в задумчивости уставился кротким взором в высокое окно, за которым сквозь его рассеивающиеся размышленья постепенно проступал фиалково-синий воздух сумерек, в серебряных узорах от флуоресцирующего света с потолка, и между черных паукообразных веток –

отраженный ряд ярких книжных корешков.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как правильно произносится причастие от английского глагола «интересоваться», и обнаружил, что Уэбстер – по крайней мере то его потрепанное издание 1930 года, которое лежало на столике в читальне,- не делает, в отличие от него самого, ударения на третьем слоге (интерйстид). Он поискал в конце список опечаток, такового не нашел и, уже захлопнув слоноподобный лексикон, с досадой спохватился, что замуровал где-то внутри карточку с заметками, которую все время держал в руках. Ищи теперь между 2500 тоненьких страниц, из которых иные разорваны! На его возглас к нему подошел учтивый мистер Кейс, долговязый, розовощекий библиотекарь с прилизанными белыми волосами и галстуком бабочкой; он поднял колосса за обе корки, перевернул его и слегка встряхнул, и оттуда выпали: карманная гребенка, рождественская открытка, заметки Пнина и прозрачный призрак папиросной бумаги, совершенно безучастно слетевший к ногам Пнина и возвращенный мистером Кейсом на свое место на Больших Печатях Соединенных Штатов и Их Территорий.

Пнин сунул карточку в карман и тут же без всякого повода вспомнил то, чего не мог вспомнить давеча: «…плыла и пела, пела. и плыла…» Ну, конечно же! Смерть Офелии! «Гамлет»! В русском переводе старого доброго Андрея Кронеберга 1844 года – отрада юных дней Пнина, и отца Пнина, и деда! Помнится, там тоже, как и у Костромского, ива, и тоже венки. Но где бы это как следует проверить? Увы, «Гамлет» Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, в библиотеке Уэйндельского колледжа не имелся, и если вам зачем-нибудь нужно было справиться в английской версии, то вы никогда не находили той или другой прекрасной, благородной, звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кронебергу в отличном Венгеровском издании. Печально!

На печальном кампусе совсем стемнело. Над дальними, еще более печальными холмами, под облачной грядой медленно гасло глубокое черепаховое небо. Надрывающие сердце огни Уэйндельвиля, пульсируя в складке этих сумеречных холмов, приобретали свой всегдашний волшебный облик, хотя на самом деле, и Пнин хорошо это знал, там, когда туда пойдешь, не было ничего, кроме ряда кирпичных домов, бензинной станции, скетинг-ринк и супермаркета. По дороге к маленькому кабачку в Библиотечном переулке, где его ждала большая порция виргинской ветчины и бутылка хорошего пива, Пнин вдруг почувствовал страшную усталость. И не только потому, что том Зол. Фонд. после своего никому не нужного визита в библиотеку

стал еще тяжелее; но что-то такое, что Пнин в продолжение всего дня слышал в пол-уха, но не хотел вслушаться, теперь томило и угнетало его, как может мучить воспоминание о совершенной оплошности, о грубости, которую мы себе позволили, или об угрозе, которой мы предпочли пренебречь.

7

За неторопливой второй бутылкой Пнин обсуждал с собою свой следующий ход, или, вернее, посредничал в переговорах между Пниным-Утомленным, который последнее время дурно спал, и Пниным-Ненасытным, желавшим, как всегда, почитать еще дома до двухчасового товарного, стонавшего по пути через долину. В конце концов решено было, что он ляжет спать сразу после окончания программы, показываемой неутомимыми Христофором и Луизой Стар каждый второй вторник в Новом Холле,- довольно высокого уровня музыка и довольно необычные кино-картины, которые президент Пур, отвечая в прошлом году на чью-то нелепую критику, назвал «быть может, самой вдохновляющей и самой вдохновенной затеей в нашей университетской жизни».

З. Ф. Л. теперь спал у Пнина на коленях. Слева от него сидели два студента-индуса. Справа – немного взбалмошная дочь профессора Гагена, специализировавшаяся в области драматургии. Комаров, слава Богу, сидел слишком далеко позади, чтобы сюда долетали его малоинтересные замечания.

Первая часть программы – три старинных коротких фильма – нагнала на нашего приятеля скуку: эта трость, этот котелок, белое лицо, эти черные брови дугой и подрагивающие ноздри его совершенно не трогали. Плясал ли несравненный комик под ярким солнцем с нимфами в веночках по соседству с поджидающим кактусом или был первобытным человеком (гибкая трость превращается в этом случае в гибкую дубинку), или невозмутимо выдерживал свирепый взгляд дюжего Мак Свэна в перевернутом вверх дном ночном кабарэ,- старомодный, безъюморный Пнин оставался равнодушен. «Шут,- фыркал он про себя.- Глупышкин и Макс Линдер и те были смешней».

Вторая часть программы состояла из внушительной советской хроники, снятой в конце сороковых годов. В ней не должно было быть ни капли пропаганды, одно чистое искусство, увеселенье, эйфория гордого труда. Миловидные, нехоленые девушки маршируют на вековечном Весеннем Празднестве, неся полотнища с обрывками из старинных русских песен, вроде «Руки прочь от Кореи», «Bas les mains devant la Corие», «La paz vencera a 1a guerra», «Der Friede besiegt den Krieg». Санитарный аэроплан пролетает над заснеженным хребтом в Таджикистане. Киргизские актеры посещают обсаженную пальмами санаторию для углекопов и дают там импровизированное представление. С горного пастбища где-то в Осетии пастух рапортует по

переносному радио о рождении ягненка местному Министерству сельского хозяйства. Сверкает огнями московское метро с его колоннами и скульптурами и шестью как бы пассажирами, сидящими на трех мраморных скамьях. Семья фабричного рабочего проводит спокойно вечер дома, под большим шелковым абажуром, все разодетые, в гостиной, загроможденной декоративными растениями. Восемь тысяч поклонников футбола смотрят на матч Торпедо и Динамо. Восемь тысяч граждан на Московском заводе электро-моторов единодушно избирают Сталина кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель ЗИМа выезжает с семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А засим – не нужно, не нужно, ах, как это глупо, говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы – безотчетно, смешно, унизительно – источают свою горячую ребяческую, неудержимую влагу.

В мареве солнечного света – света, проходящего дымчатыми ~ стрелами меж белых березовых стволов, орошающего нависшую листву, дрожащего глазками на коре, стекающего в высокую траву, играющего и крутящегося среди призраков черемух в чуть смазанном цвету – глухой русский лес обступил путника. Через него шла старая лесная дорога с двумя мягкими колеями и сплошной процессией грибов и ромашек Путник продолжал следовать мысленно по этой дороге на докучном обратном пути в свое анахроническое жилье; он снова был тот юноша, который бродил по этим лесам с толстой книгой подмышкой; дорога вдруг вышла к романтическому, раздольному, возлюбленному великолепию большого поля, нескошенного временем (лошади скачут прочь, вскидывая серебристыми гривами среди высоких цветов), когда дремота одолела Пнина, теперь уже удобно устроившегося в постели, в соседстве четы будильников (один поставлен на 7.30, другой на 8), клохчущих и щелкающих на ночном столике.

Комаров в небесно-голубой рубашке склонился над гитарой, которую настраивал. Праздновалось чье-то рождение, и невозмутимый Сталин с глухим стуком бросил свой бюллетень на выборах правительственных гробоносцев. В бою ли, в стран… в волнах, в Уэйнделе. «Уандерфуль!» (Прекрасно!) – сказал д-р Бодо фон Фальтернфельс, подняв голову от своих бумаг.

Пнин уже погрузился было в свое бархатное забытье, когда на дворе приключилась какая-то ужасная катастрофа: охая и хватаясь за голову, статуя преувеличенно суетилась около сломанного бронзового колеса – и тут Пнин проснулся, и караван огней и теневых бугров прошел по оконной шторе. Грохнула

автомобильная дверца, машина отъехала, ключом отперли хрупкий, прозрачный дом, заговорили три звучных голоса; дом и щель под дверью Пнина, дрогнув, осветились. Озноб, зараза. Испуганный, беспомощный, беззубый, в одной ночной рубашке, Пнин слушал, как вверх по лестнице колченого, но бодро, топает чемодан и пара юных ног взбегает по хорошо знакомым им ступенькам, и уже можно было разобрать шум нетерпеливого дыхания… Машинальная ассоциация со счастливым возвращением домой из унылых летних лагерей привела бы к тому, что Изабелла и в самом деле пинком отпахнула бы дверь Пнина, не останови ее вовремя предупреждающий оклик матери.

Глава четвертая

1

Король (его отец), в снежно-белой спортивной рубашке с открытым воротом и совершенно черном спортивном пиджаке сидел за большим столом, полированная поверхность которого отражала верхнюю половину его тела – вниз головой,- превращая его в фигурную карту. Стены просторной, обшитой деревом комнаты были увешаны фамильными портретами. В остальном же она мало чем отличалась от кабинета директора школы Св. Варфоломея на Атлантическом побережье, приблизительно в трех тысячах миль к западу от воображаемого Дворца. Сильный весенний ливень хлестал в большие стекла балконных дверей, за которыми дрожало и струилась молодая глазастая листва. Казалось, что ничто, кроме этой пелены дождя, не отделяет и не защищает Дворца от мятежа, вот уже несколько дней сотрясавшего город… На самом же деле отец Виктора был доктор-эмигрант, с причудами, которого мальчик никогда особенно не любил и теперь уже почти два года не видал.

Король, его более правдоподобный отец, решил не отрекаться. Газеты не выходили. Ориент-Экспресс, со всеми своими транзитными пассажирами, застрял на пригородной станции, где на перроне стояли, отражаясь в лужах, живописные крестьяне, глазеющие на занавешенные окна таинственных длинных вагонов. И Дворец, и его террасами спускающиеся сады, и город у подножья дворцового холма, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные гулянья,- все это находилось в самом сердце некоего креста, перекладины которого оканчивались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе – согласно Справочному Атласу Мира Рэнд Мак-Нэлли. А в центре этого сердца сидел Король, бледный и невозмутимый, и в общем чрезвычайно похожий на своего сына, каким этот школьник представлял себя в сорок лет. Бледный и невозмутимый, с чашкой кофе в руке, Король сидел спиной к изумрудно-серому окну и слушал маскированного вестника, дородного старого вельможу в мокром плаще, несмотря на мятеж и дождь пробравшегося из осажденного Государственного совета в окруженный Дворец.

– Отречься! Чуть ли не четверть алфавита! – холодно сострил Король с легким акцентом.- Ни за что. Предпочитаю неизвестную;

величину экспатриации.

Говоря это, Король – вдовец – взглянул на настольную фотографию покойной красавицы, на ее большие синие глаза и карминовый рот (это была цветная фотография, королю не подобавшая, да уж все равно). Неожиданно рано зацветшая сирень исступленно колотилась в забрызганные стекла, как ряженые, которых не пустили в дом. Старик-вестник отвесил поклон и попятился через пустыню кабинета, размышляя про себя, не разумнее ли ему махнуть рукой на историю и укатить в Вену, где у него было кое-какое имущество… Конечно, на самом деле мать Виктора была жива; она бросила его будничного отца, д-ра Эриха Винда (проживавшего в настоящее время в Южной Америке) и собиралась выйти замуж в Буффало за некоего Чёрча.

Каждую ночь Виктор предавался этим безобидным мечтам, пытаясь заманить сон в свой холодный уголок неугомонного, шумного дортуара. Обыкновенно он не доходил до самого решительного эпизода побега, когда Король один-одинешенек,- Solus rex, как составители шахматных задач называют одинокого короля на доске – мерил шагами пляж Богемского взморья у Стрелки Бурь, где Персиваль Блэк, беспечный американский искатель приключений, обещал встретить его на мощном катере. Именно отсрочивание этого захватывающего и утешительного эпизода, затягивание его прелести, приливавшей на гребне повторяющегося вымысла, и приводили в действие его усыпляющий механизм.

Итальянская фильма, снятая в Берлине для американского потребителя, в которой какого-то юнца с одичалым взглядом, в измятых трусах, преследует по трущобам и развалинам и в одном или двух борделях некий международный агент; инсценировка «Алого Берденца», недавно показанная в соседней женской школе Св. Марфы; анонимный рассказ в духе Кафки в некогда авангардном журнальчике, прочитанный вслух в классе мистером Пеннантом, скучного вида англичанином с замечательным прошлым; и не в последнюю очередь, давно отстоявшийся осадок разных домашних упоминаний о бегстве русских интеллигентов от ленинского режима тридцать пять лет назад,- вот очевидные источники фантазий Виктора; когда-то они, должно быть, сильно волновали его, но теперь стали откровенно утилитарными, как простое и приятное снотворное.

2

Теперь ему было четырнадцать лет, но выглядел он на два-три года старше,- не потому, что был долговяз, шести футов ростом, а из-за своей непринужденной манеры держаться, из-за выражения дружелюбного равнодушия в простых, но правильных чертах лица и. полного отсутствия угловатости или напряженности, нисколько не исключавшего скромности и сдержанности, но придававших какую-то солнечность его застенчивости и учтивую независимость его спокойным повадкам. Коричневое родимое пятно размером с грош под левым глазом подчеркивало бледность его щек. Не думаю, чтобы он кого-нибудь любил.

В его отношении к матери горячая детская привязанность давно сменилась нежной снисходительностью, и он только позволял себе мысленно вздыхать, с улыбкою подчиняясь судьбе, когда она на своем беглом и развязном нью-йоркском наречии с резкими металлическими носовыми нотками и съезжанием в неразборчивые русизмы, потчевала в его присутствии незнакомых людей историями, которые он слышал сотни раз и которые были либо бессовестно приукрашены, либо выдуманы. Хуже бывало, когда Эрих Винд, совершенно безъюморный педант, убежденный в безупречности своего английского языка (приобретенного в немецкой гимназии), в обществе таких же незнакомцев отпускал какую-нибудь затасканную остроту, говоря вместо «океан» – «пруд», да еще с доверительно-лукавым видом человека, одаряющего слушателей редкой и изысканной идиомой. Оба они в качестве психотерапевтов делали все, что было в их силах, чтобы олицетворить собою Лая и Иокасту, но мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Чтобы не усложнять модного треугольника фрейдовского романа (отец, мать, дитя), первого Лизиного мужа никогда не упоминали. Только приблизительно ко времени поступления Виктора в школу Св. Варфоломея, когда брак Виндов начал разваливаться, Лиза сообщила ему, что до отъезда из Европы она была женой профессора Пнина. Она сказала, что ее бывший муж тоже переселился в Америку, что он даже скоро повидается с Виктором; так как все, что бы Лиза ни говорила (широко раскрывая свои лучистые, синие, с черными ресницами, глаза) неизменно приобретало налет некоторой таинственности и романтичности, величественный образ Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего фактически мертвый язык в знаменитом Уэйндельском университете, в трехстах примерно

милях на северо-запад от Св. Варфоломея, приобрел в гостеприимном воображении Виктора странную прелесть, какое-то семейное сходство с теми болгарскими королями или средиземноморскими принцами, которые бывали всемирно известными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в солидную и церемонную переписку; за первым письмом, написанным на чудесном французском языке, но довольно дурно напечатанным, последовала открытка с изображением Серой Белки. Открытка эта была из педагогической иллюстрированной серии «Наши млекопитающие и птицы»; Пнин купил всю серию нарочно для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что слово «squirrel» (белка) происходит от греческого, означающего «тень хвоста». Пнин приглашал Виктора к себе в гости на ближайшие каникулы и сообщал, что встретит его на Уэйндельской автобусной станции. «Для того, чтобы меня можно было узнать,- писал он (по-английски),- я появлюсь в темных очках и буду держать черный портфель с серебряной монограммой».

3

И Эрих, и Лиза Винд были болезненно озабочены проблемой наследственности, и вместо того, чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, мрачно доискивались его истоков. Искусства и науки были довольно ярко представлены в их родословной. Не восходит ли увлечение Виктора красками к Гансу Андерсену (не состоявшему в родстве с датчанином, читаемым на сон грядущий), который был витражных дел мастер в Любеке, пока не рехнулся, вообразив, что стал собором, вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, деда Эриха по материнской линии? Или, может быть, почти патологическая точность карандаша и пера Виктора была побочным следствием ученой деятельности Боголеповых? Ибо прадед матери Виктора, седьмой сын сельского попа, был никто другой как тот самый Феофилакт Боголепов, своеобразный гений, с которым мог соперничать только величайший русский математик Николай Лобачевский. Трудно сказать.

Гений – это оригинальность. В два года Виктор не чертил спиралевидных каракулей, чтобы изобразить пуговицу, или иллюминаторы, как это делают миллионы других детей, а что же ты так не рисуешь? Он любовно выводил свои абсолютно правильные, замкнутые окружности. Если трехлетнего ребенка попросить срисовать квадрат, то он сделает один сносный угол, а прочие передаст волнообразной или круглой линией; а Виктор в три года не только скопировал с презрительной точностью далеко не идеальный квадрат, предложенный испытателем (д-ром Лизой Винд), но и прибавил от себя еще один рядом, поменьше. Он не прошел через ту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют «kopffьssler'ов» (головастиков) или яйцевидных человечков с ножками-кочережками и руками, заканчивающимися грабельными зубьями; он вообще не рисовал человеческих фигур, и когда Папа (д-р Эрих Винд) заставил его нарисовать Маму (д-ра Лизу Винд), он изобразил нечто восхитительно волнистое, что, по его словам, было ее тенью на новом леднике. К четырем годам он придумал собственную систему подтушевки. В пять он начал изображать предметы в перспективе – правильно укороченную боковую стену здания; уменьшенное расстоянием дерево; один предмет, наполовину заслоненный другим. А в шесть лет Виктор уже различал то, что и взрослые не все научаются видеть – цвет тени, разницу в оттенке между тенью апельсина и сливы или аллигаторовой груши.

Для Виндов Виктор был трудным ребенком, поскольку он отказывался быть таковым. С точки зрения Виндов всякий младенец мужеского пола одержим страстным желанием оскопить отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Виктор же не обнаруживал никаких изъянов в поведении, не копал в носу, не сосал большого пальца и даже не грыз ногтей. Д-р Винд, желая избежать того, что он, радиофил, называл «статическими помехами в личных отношениях», попросил чету посторонних людей, молодого д-ра Стерна и его улыбчивую жену («Меня зовут Луис, а это Христина») пропсихометрировать в Институте своего неприступного ребенка. Но результаты получались или чудовищные, или вовсе никакие: семилетний пациент выдержал так называемое испытание Годунова «Нарисуем животное» на потрясающий интеллектуальный балл, соответствующий семнадцати годам, но когда ему предложили тест Фэрвью для взрослых, он тотчас скатился на умственный уровень двухлетнего. Сколько труда, мастерства и находчивости было потрачено на изобретение всех этих восхитительных методов! Какая досада, что некоторые пациенты не желают сотрудничать! Вот, например, испытание на «Абсолютно свободную ассоциацию» (Кент – Розанофф), когда маленьких Джо или Джейн просят ответить на какое-нибудь Наводящее Слово, как-то: стол, утка, музыка, больной, большой, низкий, глубокий, длинный, счастье, плод, мать, гриб. Вот очаровательная игра «Любознательность и Отношение» (Бьевр) – дождливых вечеров отрада – тут маленьких Сэма или Руби просят сделать пометочку около тех слов, которых они побаиваются, как например: смерть, паденье, сон, циклоны, похороны, отец, ночь, операция, спальня, уборная, конвергировать, и так далее; имеется абстрактный текст Августы Ангст, где малыша (das KIeine) заставляют выразить ряд понятий (стон, удовольствие, темнота), не отрывая карандаша. Ну и, конечно, «Игра в куклы», где Патрику или Патриции вручаются две одинаковые резиновые куклы и симпатичный кусочек глины, который Пат должен (-на) прилепить к одной из них, прежде чем начать играть ими, и что за прелесть этот кукольный дом, сколько в нем комнат, сколько затейливых миниатюрных вещиц, включая ночной горшочек величиною с желудевую чашечку, аптечный шкапчик, кочергу, двуспальную постель и даже пару крошечных резиновых перчаток на кухне, и можно быть гадким сколько захочешь и делать все что угодно с куклой-Папой, если тебе кажется, что она бьет куклу-Маму, когда они тушат свет в спальне. Но нехороший Виктор не желал играть с Лу и Тиной, игнорировал кукол, вычеркивал все слова подряд (что было нарушением правил), и делал рисунки,

начисто лишенные всякого нечеловеческого смысла.

Виктора нельзя было заставить увидеть хоть что-нибудь мало-мальски любопытное для врачей в очень, очень красивых кляксах Роршаха, в коих дети находят, или должны находить, всякую всячину: побег, поморье, полуостров, червей идиотизма, невротические стволы, эротические галоши, зонтики и гири для гимнастики. С другой стороны, ни один из небрежных набросков Виктора не являл собою так называемого «мандала» – термин, предположительно означающий (на санскрите) волшебное кольцо и применяемый д-ром Юнгом и прочими для обозначения всяких каракулей с более или менее четырехстворчатой структурой, вроде разрезанного пополам манго, или креста, или колеса, на котором всякое эго разламывается как Морфо, или вернее, как молекула углерода с ее четверной валентностью – основной химический компонент мозга, – механически увеличенная и запечатленная на бумаге.

В своем отчете Стерны написали, что «к сожалению, психическая ценность Ментальных Образов и Словесных Ассоциаций Виктора совершенно затемнена художественными наклонностями мальчика». И с тех пор маленькому пациенту Виндов, трудно засыпавшему и лишенному аппетита, было позволено читать в постели заполночь и уклоняться от утренней овсянки.

4

Составляя планы образования сына, Лиза разрывалась между двумя либидолами: доставить ему все новейшие преимущества Современной Детской Психотерапии, и в то же время подыскать внутри американской религиозной структуры ближайшее подобие мелодичных и благотворных красот Православной Церкви, этой благостной общины, так мало требующей от совести по сравнению с теми утешениями, которые она сулит.

Сначала маленький Виктор посещал прогрессивный киндергартен в Нью Джерзи, а потом по совету каких-то русских знакомых был определен в тамошнюю школу. Школой этой руководил англиканский священник, оказавшийся умным и талантливым педагогом, снисходительный к одаренным детям невзирая на их причуды или шалости; Виктор был, бесспорно, не совсем заурядным мальчиком, но в то же время очень спокойным. В двенадцать лет он поступил в школу Св. Варфоломея.

Снаружи Сент-Барт представлял собой массив красного, фальшиво-импозантного кирпича, возведенный в 1869 году на окраине Крантона, Массачусеттс. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвертой же стороной была застекленная галлерея. Домик привратника с коньковой крышей по одной стене был покрыт глянцевитым американским плющом и несколько неуклюже увенчивался кельтским каменным крестом. По плющу от ветра проходила рябь, как по шкуре лошади. Цвету красного кирпича любят приписывать способность со временем приобретать благородный оттенок: сент-бартовский сделался просто грязным. Под крестом и непосредственно над кажущейся гулкой, но в действительности безотзывной, входной аркой было вырезано нечто вроде кинжала, с намерением изобразить мясничий нож, который так укоризненно держит (в Венском требнике) Св. Варфоломей, один из апостолов – именно тот, с которого заживо содрали кожу, а потом выставили на съедение мухам летом 65-го, что ли, года после Р. Х. в Альбанополе (ныне Дербент, в юго-восточной России). Его гроб, брошенный разгневанным царем в Каспийское море, благополучно доплыл до острова Липари, у берегов Сицилии – должно быть, сказка, так как Каспий с самого Плейстоцена был неизменно внутренним морем. Под этим геральдическим оружием – несколько напоминавшим морковку концом вверх – отполированным церковным шрифтом было начертано: Sursum. Две кроткого нрава английские овчарки, очень друг к другу привязанные и принадлежавшие одному из наставников,

обыкновенно дремали на траве перед воротами, в своей собственной Аркадии.

В первое свое посещение школы Лиза от всего приходила в восторг, начиная с площадок для игры в fives и часовни и кончая гипсовыми слепками в коридорах и фотографиями соборов в классных комнатах. Для трех младших классов были отведены дортуары с окном в каждом отделеньице; в конце была комната воспитателя. Посетители не могли не полюбоваться прекрасным гимнастическим залом. Сильное впечатление производили также дубовые скамьи и подбалочная кровля часовни – романского стиля строения, пожертвованного полвека назад Юлиусом Шонбергом, шерстяным фабрикантом, братом знаменитого египтолога Сэмюэля Шонберга, погибшего в мессинском землетрясении. Всего было двадцать пять преподавателей и директор, преподобный Арчибальд Хоппер, в теплую погоду носивший элегантное серое облачение и исполнявший свои обязанности в блаженном неведении интриги, которая вот-вот должна была его сместить.

5

Хотя у Виктора было необычайно развитое зрение, ничем не примечательный образ Сент-Барта запечатлелся в его сознании скорее своими запахами и звуками. В дортуарах стоял затхлый скучный дух старого полированного дерева, а в кабинках ночью слышны были громкие брюшные залпы и особенный скрип постельных пружин, нарочно усиленный из ухарства – и звонок в коридоре, в гулкой пустоте мигрени, раздававшийся в 6.45 утра. От курильницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни, веяло идолопоклонством и ладаном, а бархатный голос преподобного Хоппера гладко сочетал вульгарность с утонченностью; был Гимн 166-й, «Светоч души моей», который новички должны были выучивать наизусть; а в раздевальной с незапамятных времен несло потом от корзины на колесах, где хранились общие гимнастические суспензории – омерзительно серый клубок, из которого приходилось выпутывать для себя один, надевавшийся перед началом спортивных классов – и до чего резки и печальны были грозди возгласов, доносившихся с каждой из четырех игральных площадок!

При умственном коэффициенте около ста восьмидесяти и среднем балле в девяносто, Виктор без труда числился первым в классе из тридцати шести человек, и даже был одним из трех лучших учеников в школе. К большинству преподавателей он не испытывал особенного уважения, но зато преклонялся перед Лейком, необычайно толстым человеком с мохнатыми бровями и волосатыми руками, и с выражением сумрачного смущения в присутствии атлетических, румяных мальчиков (Виктор не был ни тем, ни другим). Лейк восседал подобно Будде в замечательно опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галлерее, чем мастерскую. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух одинаково обрамленных картин: копии фотографического шедевра Гертруды Кэзебир «Мать и дитя» (1897), с задумчивым ангелоподобным младенцем, глядящим вверх и прочь (на что?), и репродукции головы Христа, в тех же тонах, из Рембрандтовых «Паломников в Эммаусе», с тем же, хотя и чуть менее небесным выражением глаз и рта.

Он родился в Огайо, учился в Париже и Риме; преподавал в Эквадоре и Японии. Он был признанный знаток живописи, и многие недоумевали, чего ради Лейк последние десять зим пропадает в Сент-Барте. Хотя он обладал суровым нравом гения, ему не хватало оригинальности, и он это знал; собственные его работы всегда казались прекрасными и остроумными

подражаниями, хотя никто никогда не мог определенно сказать, чью именно манеру он имитирует. Его доскональное знание бесчисленных технических приемов, его безразличие к «школам» и «течениям», ненависть к шарлатанам, убежденность в том, что нет никакой разницы между мещански-благовоспитанной акварелью вчерашнего дня и, скажем, нынешним условным неопластицизмом или банальной беспредметностью, и что ничто кроме индивидуального дарования не имеет значения – все эти взгляды делали его необычным учителем. В Сент-Барте были не слишком довольны ни методикой Лейка, ни ее результатами, но держали его оттого, что полагалось иметь среди педагогов хотя бы одного знаменитого чудака. Среди множества увлекательных вещей Лейк учил, что порядок солнечного спектра представляет собою не замкнутый круг, а спираль оттенков от кадмиево-красного и оранжевых, и дальше стронциево-желтого и бледно-райски-зеленого до кобальтово-синего и лилового, после чего вся череда не возвращается опять постепенно в красные тона, но открывает новую спираль, начинающуюся с фиолетово-серого и идущую от одного пепельного оттенка к другому, уже за пределом человеческого восприятия. Он говорил, что не существует никакой Школы «Аш-кан», ни Школы «Каш-Каш», ни Школы «Кан-кан». Что произведение искусства, созданное из куска бечевки, почтовых марок, левой газеты и голубиного помета – просто набор невыносимо скучных пошлостей. Что нет ничего более банального и мещанского, чем паранойя. Что Дали, в сущности, близнец Нормана Роквелла, умыкнутый в младенчестве цыганами. Что Ван Гог художник второго разряда, а Пикассо – высшего, несмотря на его коммерческие поползновения; и что если Дега мог обессмертить une caliche, то почему бы Виктору Винду не сделать того же самого с автомобилем?

Можно, например, сделать автомобиль проницаемым для окружающего ландшафта. Полированный черный седан – хороший сюжет, особенно ежели он запаркован на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех тяжеловатых осенних небосклонов, на которых распухшие серые облака и амебообразные пятна синевы выглядят вещественней молчаливых ильмов и уклончивой мостовой. Теперь разложи корпус машины на отдельные плоские и изогнутые части; потом собери их по законам отражений. Для каждой части они будут другими: на крыше появятся опрокинутые деревья с размазанными ветвями, врастающими как корни в водянистую фотографию неба, с проплывающим мимо китообразным зданием – добавочная архитектурная идея; один бок кожуха покроет полоса густого

небесного кобальта; тончайший узор черных веток отразится на внешней поверхности заднего окна; и замечательно пустынный пейзаж – раздавшийся горизонт (с далеким домом тут, одиноким деревом там) протянется по бамперу. Этот подражательно-интегрирующий процесс Лейк называл необходимой «натурализацией» рукотворных предметов. Виктор отыскивал на улицах Крантона подходящий экземпляр машины и некоторое время бродил вокруг нее. Неожиданно к нему присоединялось солнце, полускрытое, но ослепительное. Для той кражи, которую замышлял Виктор, нельзя было найти лучшего сообщника. В хромовой отделке кузова, в стекле фары, обрамленной солнцем, он видел перспективу улицы и себя, и это напоминало микроскопический вариант комнаты (с крошечными людьми, видимыми со спины) в том совершенно особенном и волшебном выпуклом зеркальце, которое полтысячелетия назад любили вписывать в свои подробнейшие интерьеры, – позади какого-нибудь насупленного купца или местной мадонны,- Ван Эйк, Петрус Христус и Мемлинг.

В последнем номере школьного журнала Виктор поместил стихотворение о живописцах, над nom de guerre Муанэ и под эпиграфом «Дурных красных следует вовсе избегать; даже тщательно изготовленные, они все равно дурны» (взятым из одной старинной книги о живописном мастерстве, но смахивавшим на политический афоризм), Стихотворение начиналось так:

Леонардо! От свинцовой
Краски в смеси с мареной
Моны Лизы рот пунцовый
Побледнел, как у святой.

В мечтах он смягчал свои краски, как это делали Старые Мастера, медом, смоковным соком, маковым маслом и слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но остерегался слишком хрупкой пастели и слишком грубой темперы. Он изучал свой матерьял с охотой и терпением ненасытного ребенка – как те ученики живописцев (а это уже мечта Лейка!), остриженные, как пажи, мальчики с блестящими глазами, годами растиравшие краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского скиаграфа, в царстве янтаря и райской глазури. В восемь лет он как-то сказал матери, что ему хочется написать воздух. В девять ему уже было знакомо чувственное упоение от постепенной гаммы акварельных оттенков. Что ему было до того, что нежный кьяроскуро, дитя приглушенных красок и прозрачных полутонов,

давно скончался за тюремной решеткой абстрактного искусства, в ночлежке омерзительного примитивизма? Он помещал по очереди разные предметы – яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребенку – позади стакана воды и сквозь него прилежно разглядывал каждый: красное яблоко превращалось в четкую красную полосу, ограниченную ровным горизонтом – полустаканом Красного Моря, Arabia Felix. Короткий карандаш, если его держать косо, извивался как стилизованная змея, но если его держать вертикально, он чудовищно толстел – делался чуть ли не пирамидою. Черная пешка, если ее двигать туда-сюда, разделялась на чету черных муравьев. Гребенка, поставленная торчком, наполняла стакан прелестно полосатым, как зебра, коктэйлем.

6

Накануне того дня, когда Виктор собирался приехать, Пнин зашел в спортивный магазин на Главной улице Уэйнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали.

– Нет-нет,- сказал Пнин.- Мне не нужно ни яйца, ни торпеды. Я хочу простой футбол. Круглый!

И кистями и ладонями он изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о «гармонической цельности» Пушкина.

Приказчик поднял палец и молча достал европейский футбол.

– Да, это я куплю,- сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением.

Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжный магазин и попросил «Мартина Идена».

– Иден, Иден, Иден,- забормотала высокая темноволосая женщина за прилавком, потирая лоб.- Постойте, вы имеете в виду книгу об английском министре, не правда ли?

– Я имею в виду,- сказал Пнин,- знаменитое сочиненье знаменитого американского писателя Джэка Лондона.

– Лондон, Лондон, Лондон,- сказала она, хватаясь за виски.

На помощь, с трубкою в руке, пришел ее муж, некий г-н Твид, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных глубин своего не слишком процветающего магазина старое издание «Сына волка».

– Боюсь,- сказал он,- это все, что у нас есть этого автора.

– Странно! – сказал Пнин.- Превратности славы! В России, помнится, все – маленькие дети, взрослые, доктора, адвокаты – все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но – окей, окей – я возьму ее.

Вернувшись домой, в тот дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову набок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей бесформенной упаковке: он развернул его. Теперь была на виду его красивая кожа. Комната была чисто убранная и уютная. Школьнику должна понравиться эта картинка (профессорский цилиндр, сшибленный снежком). Поденщица только что сделала постель; старый Биль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую лампочку в настольную

лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Собирался дождь. Пнин закрыл окно.

В своей комнате, на том же этаже, он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону: в ней сообщалось, что он опоздает ровно на двадцать четыре часа.

7

Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий (все это тщательно скрывалось от Виндов), и не курил, в сущности, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брейдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и досками, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась под хруст штукатурки, сыпавшейся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самым острием кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики сознались. Тони Брейду, внуку славного сент-барского директора, было позволено уехать по семейным обстоятельствам; его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему двоюродный брат. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными.

Как я уже сказал, директором во времена Виктора был преподобный мистер Хоппер – безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей хопперовской семьей, то с той, то с другой стороны делались разного рода кристально-прозрачные намеки; особенно старалась г-жа Хоппер, сладкоголосая англичанка, тетка которой была замужем за графом: г-н Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеням.

Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, которой Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности; но чего ни один мальчик не мог стерпеть, это гнусной ухмылочки, искривившей

красные губы директора, когда он задержался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный пакет – рясу и стихарь; автомобиль семейного типа стоял у дверей, я «на закуску к наказанию», по выражению мальчиков, этот фальшивый священнослужитель угостил их специальной службой в Радберне, в двенадцати милях от Крантона, в холодной кирпичной церкви с немногочисленными прихожанами.

8

Теоретически проще всего добраться до Уэйнделя из Крантона на таксомоторе до Фреймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении; в действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая, закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписания, вам ни за что было не избежать по меньшей мере трехчасового ожидания поезда в Албани.

Можно было, правда, уехать из Албани одиннадцатичасовым автобусом, прибывавшим в Уэйндель в три часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фреймингама в 6.31 утра; Виктор знал, что не встанет вовремя; поэтому он предпочел более поздний и куда более медленный поезд, позволявший успеть в Албани на последний автобус в Уэйндель, который доставил его туда в половине девятого вечера.

Всю дорогу шел дождь. Дождь шел и когда он приехал на Уэйндельский автобусный вокзал. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности Виктор всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этому своему изъяну, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего высокого роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу и сходили на блестящий асфальт: две грузные старые дамы в полупрозрачных дождевиках, похожие на картофелины в целлофане; мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, с нежным затылком; многоугольный застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям; три уэйндельские студентки в коротких штанах, с розовыми коленками; изнеможенная мать мальчика; еще несколько пассажиров; а потом – Виктор, с саквояжем в руке и двумя иллюстрированными журналами подмышкой.

Под аркой при входе в вокзал стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом, в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившись над тонкошеим мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот quid pro quo. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза выше-выше-выше на высокого-высокого-высокого

Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки; в улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В общем, это была чрезвычайно удачная встреча.

Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройтись один квартал пешком – если только Виктор не боится дождя (лило как из ведра, и асфальт, как горное озерцо, блестел в темноте под большими шумными деревьями). Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна доставить мальчику удовольствие.

– Доехали хорошо? Без неприятных происшествий?

– Да, сэр.

– Вы очень голодны?

– Нет, сэр. Не особенно.

– Меня зовут Тимофей,- сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире.- Второй слог произносится, как «мафф» (промах), ударенье на последнем слоге, «ей», как в «прей» (добыча), но чуть более растянуто. «Тимофей Павлович Пнин» – что значит «Тимоти, сын Поля». В отчестве ударенье на первом слоге, а остальные проглатываются – Тимофей Палч. Я долго обсуждал это сам с собой – вытрем-ка эти ножи и вилки – и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто мистер Тим или даже еще короче – Тим, как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это – что вы будете есть? Телячью отбивную? Окей, я тоже буду есть телячью отбивную – это, конечно, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущала -

Сначала Пнина очень смущала та легкость, с какой в Америке переходят на обращение по имени: после первого же приема, в начале которого на каплю виски полагается целый айсберг, а под конец в море виски добавляется немного воды из-под крана, вы должны называть чужого вам человека с седыми висками «Джимом», между тем как вы становитесь для него навеки «Тимом». Ежели вы забудете об этом и на другое утро назовете Профессором Эвереттом (его настоящим, по-вашему, именем), то это будет (для него) ужасным оскорблением. Перебирая своих русских друзей в Европе и Соединенных Штатах, Тимофей Пнин мог легко насчитать по крайней мере шесть десятков милых ему людей, которых он знал близко с 1920-х, скажем, годов и которых он никогда не называл иначе как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или Самуил Израилевич, и которые при всякой встрече величали его по имени и отчеству с тою же горячей симпатией при крепком, сердечном рукопожатии: «А, Тимофей

Палч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!».

Пнин говорил. Его речь не удивляла Виктора, часто слыхавшего, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущало, что Пнин произносит «family» так, что первый слог звучал, как «женщина» по-французски.

– Я говорю по-французски гораздо свободней, чем по-английски,- сказал Пнин.- А вы – Vous comprenez le fransais? Bien? Assez bien? Un peu?

– Trus un peu,- сказал Виктор.

– Прискорбно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду говорить с вами о спорте. Первое в русской литературе описанье бокса мы находим в поэме Михаила Лермонтова (родился в 1814-м, убит в 1841-м – легко запомнить). С другой стороны, первое описанье тенниса находится в «Анне Карениной», романе Толстого, и относится к 1875 году. Как-то в молодости, в русском поместье на широте Лабрадора, мне дали ракетку, чтобы играть с семьей ориенталиста Готовцева, может быть, вы слыхали о нем. Помню, был чудесный летний день, и мы играли, играли, играли, пока не потеряли все двенадцать мячей. Вы тоже будете вспоминать прошлое с интересом, когда постареете.

– Другая игра,- продолжал Пнин, щедро накладывая сахар в свой кофе,- была, конечно, крокет. Я был чемпион крокета. Однако любимой национальной забавой были так называемые gorodki, что значит «маленькие города». Вспоминаю площадку в саду и удивительное ощущение молодости: я был силен, носил вышитую русскую рубашку, теперь никто не играет в такие здоровые игры.

Он доел котлету и вернулся к предмету разговора:

– Чертили,- говорил Пнин,- большой квадрат на земле, ставили в нем, как колонны, этакие, знаете ли, цилиндрические деревяшки, и потом издалека бросали в них толстую палку, очень сильна, как бумеранг, широко-широко размахнувшись – извините, хорошо, что это сахар, а не соль.

– Я все еще слышу,- говорил Пнин, поднимая с полу сахарную кропилку и слегка покачивая головой, изумляясь, до чего живуча память,- я все еще слышу этот бряк, этот треск, когда попадешь в деревянные бруски и они подпрыгивают на воздух. Вы не будете доедать мяса? Вам не понравилось?

– Страшно вкусно,- сказал Виктор,- но я не очень голоден.

– Ах, вам надо есть больше, гораздо больше, если вы хотите стать футболистом.

– Боюсь, что я не очень люблю футбол, Я, собственно, терпеть его не могу. Да и в другие игры я играю неважно.

– Вы не любите футбола? – сказал Пнин, и на его большое

выразительное лицо наползла тень смятения.

Он выпятил губы. Раскрыл их – но ничего не сказал. Молча доел он свое ванильное сливочное мороженое, не содержавшее ванили и приготовленное без сливок.

– Теперь мы возьмем ваш багаж и таксомотор,- сказал Пнин.

Как только они подъехали к Шеппардову дому, Пнин провел Виктора в гостиную и наскоро представил его своему хозяину, старому Билю Шеппарду, служившему прежде надзирателем университетских земель (он был совершенно глух и носил в ухе белую пуговку), и его брату, Бобу Шеппарду, недавно перебравшемуся из Буффало к Билю, после того, как умерла жена последнего. Ненадолго оставив с ними Виктора, Пнин торопливо протопал наверх. Дом представлял собою легко проницаемую для звуков постройку, так что в нижних комнатах вещи отозвались разнообразными вибрациями на энергические шаги на верхней площадке и на внезапный скрежет поднятой оконной рамы в комнате для гостей.

– Ну-с, на этой картине,- говорил тугоухий мистер Шеппард, указывая поучающим пальцем на большую тусклую акварель на стене,- изображена мыза, где мы с братом, бывало, проводили лето полвека тому назад. Ее написала школьная подруга моей матери, Грация Уэльс; ее сын, Чарли Уэльс, хозяин гостиницы в Уэйндельвиле – д-р Нин, наверное, знаком с ним – очень, оч-чень хороший человек. Жена-покойница тоже была художницей. Я потом покажу вам ее работы. Ну, а это вот дерево позади гумна – его едва видать -

С лестницы донесся ужасный грохот и бряк: Пнин, спускаясь, оступился.

– Весной 1905 года,- сказал мистер Шеппард, грозя картине пальцем,- под этим самым тополем -

Он заметил, что его брат и Виктор бросились вон из комнаты к подножию лестницы. Бедняга Пнин с последних ступенек съехал на спине. С минуту он так полежал, поводя туда-сюда глазами. Ему помогли встать на ноги. Кости были целы.

Пнин улыбнулся и сказал:

– Это как в прекрасной повести Толстого – вам надо как-нибудь прочитать ее, Виктор,- об Иване Ильиче Головине, который упал и вследствие этого получил почку рака. Теперь Виктор пойдет со мною наверх.

Виктор с саквояжем пошел за ним. На площадке висела репродукция «La Berceus» Ван Гога, и Виктор мимоходом насмешливо кивнул ей. Комната для гостей была наполнена шумом дождя, падавшего на душистые ветки в обрамленной черноте раскрытого окна. На письменном столе лежала

завернутая в бумагу книга и десятидолларовая ассигнация. Виктор просиял и поклонился своему мрачноватому, но доброму хозяину.

– Разверните,- сказал Пнин.

Виктор послушался с учтивой поспешностью. Потом он присел на край постели и с нарочитым нетерпением раскрыл книгу, причем его русые волосы блестящими прядями спадали ему на правый висок, полосатый галстук свесился спереди, болтаясь, из-под серого пиджака, а его крупные, в серых фланелевых штанах, колени разъехались. Ему хотелось похвалить ее – во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что он думал, что это перевод с родного языка Пнина. Он вспомнил, что в Психотерапевтическом институте был какой-то д-р Яков Лондон из России. На беду Виктор попал как раз на то место, где упоминается Заринска, дочь вождя Юконских индейцев, и простосердечно принял ее за русскую девушку. «Она не сводила огромных черных глаз со своих соплеменников, и в ее взгляде были испуг и вызов. Напряжение было так велико, что она забыла дышать…»

– Я думаю, мне это понравится,- сказал вежливый Виктор.- Прошлым летом я читал «Преступление и – ».

Молодой зевок растянул его героически улыбающийся рот. С сочувствием, с одобрением, с ноющим сердцем Пнин видел Лизу, зевающую после одного из тех долгих счастливых вечеров у Арбениных или у Полянских в Париже – пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет назад.

– На сегодня довольно чтения,- сказал Пнин.- Я знаю, это очень увлекательная книга, но вы будете читать и читать ее завтра. Желаю вам покойной ночи. Ванная через площадку.

Он пожал Виктору руку и удалился в свою комнату.

9

Дождь все шел. Все огни в доме Шеппарда погасли. Ручей в овраге за садом – в обычное время трепетная струйка – этой ночью превратился в шумный поток, который кувырком низвергался, с рабской готовностью покоряясь силе притяжения, уносил по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, безлистые ветки и новешенький, никому не нужный футбольный мяч, незадолго перед тем скатившийся в воду с отлогой лужайки, после того как Пнин отделался от него путем дефенестрации. Он наконец заснул, несмотря на ломоту в спине, и в продолжение одного из тех снов, которые все еще преследуют русских беглецов даже спустя треть столетия после побега от большевиков, Пнин увидел себя в причудливом плаще убегающим по огромным лужам чернил под луной, перечеркнутой тучей, из какого-то фантастического дворца и потом шагающим взад и вперед по пустынной отмели со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая прибытия из-за безнадежного моря некоего таинственного избавителя в тарахтящей лодке. Братья Шеппарды не спали в своих смежных постелях, на своих «Бесподобно-Удобных» матрасах; младший в темноте прислушивался к дождю и размышлял о том, не лучше ли им продать этот дом с его шумной крышей и мокрым садом; старший лежал и думал о тишине, о зеленом сыром погосте, о старой мызе, о тополе, в который много лет назад ударила молния, убив Джона Хэда, какого-то смутного, отдаленного родственника. Виктор в кои-то веки заснул тотчас после того, как сунул голову под подушку – недавно заведенный способ, о котором д-р Эрих Вина (сидящий на скамье у фонтана в городе Кито, в Эквадоре) никогда не узнает. Около половины второго Шеппарды захрапели, причем тот, что был глух, в конце каждого выдоха еще слегка рокотал, и вообще звучал куда громче своего скромно и уныло посапывавшего брата. На песчаном пляже, по которому Пнин все еще шагал (его встревоженный друг ушел домой за картой), перед ним появилась вереница приближавшихся к нему следов, и он, задохнувшись, проснулся. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал.

Пнин вздохнул по-русски – ох-ох-ох – и попытался найти более удобное положение. Старый Биль Шеппард прошаркал в нижнюю уборную, обрушил дом, и поплелся обратно.

Вскоре все опять уснули. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где рассветный ветерок морщил большую, светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные

провода в неразборчивые строки черных зигзагов.

Глава пятая

1

С верхней площадки старой, редко посещаемой дозорной башни – «каланчи», как говорилось раньше,- стоявшей на восьмисотфутовом лесистом холме, именуемом Горой Эттрик, в одном из красивейших штатов Новой Англии, предприимчивый летний турист (Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи полустершиеся имена были написаны карандашом на перилах) мог увидеть широкое море зелени, состоящее преимущественно из кленов, буков, душистого тополя и сосен. Милях в пяти на запад стройная белая колокольня отмечала место, где ютился городок Онкведо, в былые времена славившийся своими источниками. В трех милях на север, на речном берегу, на прогалине у подножья травянистого пригорка, можно было разглядеть островерхие кровли затейливого строения (известного как Куково, Кукова Усадьба, Куков Замок или Сосновое, по первоначальному его названию). Штатное шоссе проходило через Онкведо и тянулось дальше на восток по южной стороне Эттрика. Множество грунтовых дорог и тропок пересекало во всех направлениях лесистую треугольную равнину, ограниченную несколько извилистой гипотенузой мощеного проселка, вившегося в северо-восточном направлении от Онкведо к Сосновому, долгим катетом упомянутого шоссе и коротким реки, через которую переброшен был стальной мост возле Эттрика и деревянный – около Куковой Усадьбы.

Пасмурным теплым летним днем 1954 года Мэри или Альмира, а пожалуй, и Вольфганг фон Гете, чье имя было вырезано на парапете каким-то старомодным остряком, могли бы заметить автомобиль, свернувший с шоссе перед самым мостом и теперь сновавший и тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он подвигался вперед неуверенно и с опаской, и всякий раз, когда решал переменить направление, сбавлял скорость и поднимал позади себя клуб пыли, как скребущий землю пес. Пожалуй, менее снисходительный человек, чем наш воображаемый наблюдатель, мог бы подумать, что за рулем этого бледно-голубого яйцевидного двухдверного седана, неопределенного возраста и довольно обшарпанной наружности, сидит какой-то болван. На самом же деле водителем его был профессор Уэйндельского университета Тимофей Пнин.

Пнин начал брать уроки в Уэйндельской школе автомобильной езды в начале года, но «настоящее понимание», по его выражению, пришло к нему только спустя месяца два, когда он слег из-за болей в спине, и занимался исключительно и с огромным удовольствием изучением сорокастраничного «Учебника автомобилизма», изданного губернатором штата в сотрудничестве с еще одним экспертом, и статьи «Автомобиль» в «Американской Энциклопедии» с изображениями Коробок Скоростей, Карбюраторов, Тормозов и Участника Глидденского Пробега (около 1905 года), завязшего в грязи деревенской дороги, посреди удручающего пейзажа. Тогда-то – и только тогда – он, наконец, преодолел двойственность своих первоначальных догадок, лежа на больничной койке и шевеля пальцами ног и передвигая воображаемый рычаг скорости. В продолжение же настоящих уроков с суровым инструктором, который теснил его, давал ненужные указания, выкликая технические термины, пытался вырвать у него руль на поворотах и постоянно раздражал спокойного, понятливого ученика грубой критикой, Пнин был совершенно неспособен слить воедино ощущение той автомашины, которой он правил в уме, с той, которую он вел по дороге. Теперь, наконец, они совпали. Если на первом экзамене он провалился, то главным образом оттого, что затеял с экзаменатором несвоевременную дискуссию, пытаясь доказать, что для разумного человека не может быть ничего унизительнее необходимости поощрять в себе низменный условный рефлекс, заставляющий автоматически останавливаться перед красным светофором, когда кругом нет ни души – ни прохожей, ни проезжей. В другой раз он был осмотрительней и выдержал. Одна неотразимая студентка старшего курса, числившаяся в его классе Русского языка, Мэрилин Гон, продала ему за сто долларов свой бедненький старый автомобиль: она выходила замуж за обладателя куда более шикарной машины. Путешествие из Уэйнделя в Онкведо, с ночевкой в частном доме, принимавшем туристов, было медленным и трудным, но обошлось без приключений. Перед самым Онкведо он заехал на бензинный пункт и вышел подышать деревенским воздухом. Над клеверным полем нависало непроницаемое белое небо, а с кучи дров возле лачуги слышался крик петуха, срывающийся и ухарский – голосистый хлыщ. Какая-то случайная интонация этой чуть хриплой птицы в сочетании с теплым ветром, льнувшим к Пнину и требовавшим его внимания, признания, чего угодно – кратко напомнили ему тусклый, забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию балтийского летнего курорта, и звуки, и

запахи, и грусть -

– А душновато,- сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь вытирать переднее стекло.

Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный, мимеографированный набросок и спросил далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой Усадьбы. Просто поразительно, до чего этот человек был похож на коллегу Пнина по Уэйндельскому университету, д-ра Гагена – случайное сходство, бессмысленное, как плохой каламбур.

– Гм, туда лучше ехать по-другому,- сказал фальшивый Гаген.- Грузовики разбили эту дорогу, и к тому же она очень петлит. Вы поезжайте прямо. Проедете через город. Через пять миль после Онкведо, сразу после поворота на Эттрик, по левой руке, и как раз не доезжая моста, возьмите первый поворот налево. Это хорошая утрамбованная дорога.

Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла.

– Сворачивайте на север и держите все время на север на всех перекрестках – в этих лесах попадаются просеки, а вы все держитесь севера и доберетесь до Кука ровно за двенадцать минут. Промахнуться нельзя.

Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровно ничего для него не значили. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться какого-то случайного болтуна, вместо того чтобы неукоснительно следовать педантически-точным указаниям, которые послал ему его друг, Александр Петрович Кукольников (в этих местах известный как Аль Кук), приглашая его провести лето в своем большом и гостеприимном деревенском доме. Наш незадачливый автоводитель теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе, а так как он не имел достаточного опыта в маневрированьи по узким изрытым колеями дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком; но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души, если не считать муравья, у которого были свои заботы: кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады (его автострады) после часов глупого упорства, он теперь был точно так же встревожен и озадачен, как тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер унялся. Под бледным небом море

древесных верхушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части в остальном неподвижного леса пришли в движение в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего все снова стихло. Прошла еще минута, и вдруг все случилось одновременно: муравей нашел отвесное бревно, которое вело на крышу башни и пустился по нему с новым одушевлением; выглянуло солнце; а Пнин, совсем уже было отчаявшийся, оказался на мощеной дороге с поржавевшей, но все еще поблескивавшей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое.

2

Аль Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем царе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь социал-революционным группам (по большей части террористам), а при Ленине был казнен как «империалистический шпион» после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья около 1905 года добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук благодаря своему спокойному упорству, практической смекалке и некоторому техническому образованию добился высокого и прочного положения в крутежном химическом предприятии. Добрый, чрезвычайно замкнутый, коренастый человек, с большим неподвижным лицом, перехваченным посредине аккуратненьким пенсне, он выглядел тем, что был – администратором, масоном, гольфным игроком, преуспевающим и осторожным человеком. Он говорил на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшей тенью славянского акцента, и был очаровательно радушный хозяин, молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом виски с сельтерской водой в каждой руке; и только когда его полночным гостем бывал какой-нибудь старинный и любимый русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о Свободе, и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста.

Жена его была Сюзанна Маршалл, привлекательная говорливая блондинка, дочь Чарльза Г. Маршалла, изобретателя, и так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских (как бы отцов и дядьев Кука), в нечетные же у них гостили «американцы»; деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны.

Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами – либералами и

интеллигентами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени – сидящих на деревенских лавках и обсуждающих эмигрантских писателей – Бунина, Алданова, Сирина; лежащих в гамаках, накрывши лицо воскресным номером эмигрантской газеты (традиционная защита от мух); попивающих чай с вареньем на веранде; гуляющих в лесу и гадающих, съедобны ли местные сыроежки.

Самуил Львович Шполянский, дородный, величественно невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика, граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920 года членами одного из тех героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, расхаживали, бывало, по сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета Свободной России (учрежденного ими в Нью-Йорке), с другой, более молодой, антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акацией беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим Историю Философии, и профессором Шато, преподававшим Философию Историй: «Реальность есть протяженность во времени»,- гудел один голос (Болотова). «Совсем нет!» – кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же реален, как ископаемый зуб!»

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были по сравнению с остальными юноши. Большинству остальных мужчин было за шестьдесят и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например, графине Порошиной или Болотовой, было лишь под пятьдесят, и благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков – здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем родители: время от времени они переходили из своего мира в наш сквозь мерцание каких-то промежуточных измерений; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет, и потом снова испарялись; держались всегда безучастно (вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов), и предпочитали любой товар из Онкведской лавки, любую снедь в жестянках, великолепным русским блюдам, подававшимся у

Кукольниковых за шумными, долгими обедами на закрытой сетками веранде. Порошин с горечью говорил о своих детях (Игоре и Ольге, студентах второго курса): «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома, за брекфастом или обедом, и пытаюсь рассказать им что-нибудь исключительно интересное и захватывающее – например, о местном выборном самоуправлении на Крайнем Севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ – кстати, об этом предмете имеется превосходная монография Чистовича 1883 года – они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были незримы: им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин поклонник, студент, фамильи которого никто как будто не знал, не приехал из Бостона на конец недели в грандиозном автомобиле, и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочке Болотовых. красивой неряхе с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке.

За домом смотрела Прасковья, крепкая простая женщина шестидесяти лет, но расторопнее иной сорокалетней. Весело было наблюдать за ней, когда она, подбоченясь, стояла на заднем крыльце и оглядывала кур в мешковатых домодельных шортах и барской кофте, отделанной стразами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были детьми, а теперь ей помогал управляться с хозяйством муж, хмурый и флегматичный старый казак, главными страстями которого были любительское увлечение переплетным делом, которому он выучился сам и предавался с почти патологическим упорством, переплетая любой подвернувшийся ему старый каталог или журнальчик, приготовление наливок и истребление мелких лесных животных.

Из приглашенных в тот год Пнин хорошо знал профессора Шато, друга его молодости, с которым он вместе учился в Пражском университете в начале двадцатых годов, и еще он был близко знаком с Болотовыми, которых видел последний раз в 1949 году, когда он произнес приветственную речь на официальном обеде в Барбизон-Плаза, устроенном по случаю их приезда из Франции Объединением русских ученых-эмигрантов. Меня лично никогда особенно не занимал ни сам Болотов, ни его философские сочинения, странно совмещающие малопонятное с пошлым; если он и соорудил гору, то гору плоскостей; мне, впрочем, всегда нравилась Варвара, жизнерадостная, ладная жена потрепанного философа, До первого своего посещения Соснового в 1951 году она никогда не видала ново-английской деревни. Тамошние березы и черника внушили ей обманчивое

впечатление, будто Онкведское озеро лежит не на широте, скажем, Охридского озера на Балканах, как на самом деле, а на широте Онежского в северной России, где она проводила летние месяцы до пятнадцати лет, до того, как бежала от большевиков в Западную Европу с теткой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Поэтому колибри, на лету пытающие венчики цветов, казались Варваре каким-то сверхъестественным или экзотическим видением. Громадные дикобразы, приходившие погрызть вкусные, пахучие старые бревна дома, или изящные, жутковатые маленькие скунсы, пившие на заднем дворе молоко, приготовленное для кошки, были для нее легендарнее средневековых изображений неизвестных животных. Она дивилась и восхищалась при виде множества растений и тварей, которых она не умела назвать, принимая желтую американскую славку за случайно залетевшую канарейку, и однажды, по случаю дня рождения Сюзанны, принесла с гордостью и задыхаясь от восторга, охапку красивого ядовитого сумаха для украшения обеденного стола, крепко прижимая его к своей розовой веснущатой груди.

3

Болотовы и Шполянская, сухощавая маленькая женщина в штанах, первыми увидели Пнина, осторожно сворачивавшего в песчаную аллею, окаймленную дикой лупиной; сидя совершенно прямо, напряженно ухватившись за руль, словно фермер, более привычный к трактору, чем к автомобилю, он со скоростью десяти миль в час, на первой передаче въезжал в старую, растрепанную, на удивление настоящую сосновую рощу, отделявшую проезжую дорогу от Замка Кука.

Варвара с живостью поднялась со скамейки в беседке, где они с Розой Шполянской только что застал и Болотова за чтением потрепанной книжки и курением запрещенной папироски. Она радостно захлопала в ладоши при виде Пнина, меж тем как ее муж обнаружил максимум сердечности, на которую был способен, медленно помахав книгой с всунутым в нее вместо закладки большим пальцем. Пнин остановил мотор и теперь сидел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут; непромокаемая куртка с приспущенной застежкой-змейкой казалась тесной для его внушительного торса; его побронзовелая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко наклонилась, пока он боролся с дверной ручкой; наконец, он вынырнул из машины.

– Автомобиль, костюм – ну, прямо, американец, прямо Айзенхауэр! – сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

– У нас с вами были общие друзья сорок лет назад,- заметила она, с любопытством разглядывая Пнина.

– Ах, не будем упоминать таких астрономических цифр,- сказал Болотов, подходя и заменяя травинкою палец, служивший ему закладкой.- А знаете,- продолжал он, пожимая Пнину руку,- я в седьмой раз перечитываю «Анну Каренину» и получаю такое же наслаждение, как не сорок, а шестьдесят лет назад, когда я был семилетним мальчиком. И каждый раз открываешь что-нибудь новое – например, теперь я замечаю, что Лёв Николаевич не знает, в какой день начинается его роман. Как будто бы в пятницу, потому что в этот день к Облонским приходит часовщик заводить в доме часы, но это также и четверг, как упоминается в разговоре Лёвина с матерью Китти на катке.

– Да не все ли равно,- воскликнула Варвара.- Кому, в самом деле, нужно знать точный день?

– Я могу вам назвать совершенно точный день,- сказал Пнин,

мигая от переменчивого солнца и вдыхая памятный острый дух северных сосен.- Действие романа открывается в начале 1872 года, именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. В своей утренней газете Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал в Висбаден. Это, конечно, граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент на несколько затянувшиеся рождественские каникулы- провел там два месяца со своей семьей, и теперь возвращался в Лондон, где, согласно его мемуарам в двух томах, шли приготовления к благодарственному молебну двадцать седьмого февраля в соборе Св. Павла по случаю выздоровления принца Валлийского от тифа. Однако и жарко же у вас! Я думаю, теперь мне надо явиться пред пресветлые очи Александра Петровича, а потом пойти окупнуться в речке, которую он так живо описал в своем письме.

– Александра Петровича не будет до понедельника, он уехал по делам или поразвлечься, – сказала Варвара Болотова, – но я думаю, вы найдете Сусанну Карловну – она берет солнечные ванны на своей любимой лужайке за домом. Окликните ее, прежде чем подойти слишком близко.

4

Замок Кука – трехэтажное строение из кирпича и бревен – был построен около 1860 года и частично перестроен полвека спустя, когда отец Сюзанны купил его у семьи Дадли-Грин, чтобы превратить в первоклассную гостиницу для наиболее состоятельных посетителей целебных источников Онкведо. Это было замысловатое и неказистое здание смешанных стилей: готика щетинилась сквозь зачатки французского и флорентийского; первоначальный проект, быть может, принадлежал той разновидности, которую Сэмюель Слоун, тогдашний архитектор называл «Неправильная Северная Вилла», «отвечающая высшим запросам светской жизни», и именуемая «северной» из-за «устремленных вверх крыши и башен». Пикантность этих остроконечных башенок и веселый, даже несколько бесшабашный их вид, придававшийся строению тем, что оно состояло как бы из нескольких маленьких Северных Вилл, приподнятых на воздух и кое-как сколоченных в одно целое, так что отовсюду торчали части несоединенных крыш, недовоплощенных коньков, карнизов, рустованных углов и прочих выступов – очень недолго, увы, привлекали туристов. К 1920 году Онкведские воды как-то загадочно утратили свое магическое свойство, и после смерти отца Сюзанна тщетно пыталась продать Сосновое, поскольку у них был другой, более удобный дом в привилегированном квартале большого промышленного города, где служил ее муж, Однако теперь, когда они привыкли пользоваться Замком для приема своих многочисленных друзей, Сюзанна была рада, что милое кроткое чудище не нашло покупателя.

Внутри все было столь же разнообразно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминал о гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы (по крайней мере, одна из ее колонок) существовали с 1720 года, так как были перенесены сюда при постройке дома из гораздо более старого здания, даже местонахождения которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой, с. чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обоих флигелях позади дома можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтичный палисандровый диван, но вместе с тем и всевозможные

громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморным верхом, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых обезьян. Симпатичная комната, отведенная Пнину, была на верхнем этаже и выходила на юго-восток: там были остатки золотистых обоев на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Пнин подергал и опустил окно, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате и в обыкновенных резиновых галошах на босу ногу – разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и, возможно, кишащей змеями траве. На садовой террасе он нашел Шато.

Константин Иваныч Шато, тонкий и обаятельный ученый с чисто русской родословной, несмотря на фамилью (происходящую, как мне говорили, от фамильи одного обрусевшего француза, который усыновил осиротевшего Ивана), преподавал в большом нью-йоркском университете и не видался с своим другом Пниным вот уже пять лет. Они обнялись с радостным, теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски кроткого Константина Иваныча, а именно в ту пору, когда мы, бывало, зимой 1935-го или 1936 года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревцами в Грассе, на юге Франции, где он тогда делил виллу с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическая петербургская картавость, кроткие, грустные оленьи глаза, русая эспаньолка, которую он беспрестанно теребил, разбирая ее своими длинными, изящными пальцами,- все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как и он сам) вызывало в его друзьях редкостное чувство благополучия. Они поговорили немного, обмениваясь впечатлениями. Как нередко бывает между эмигрантами с твердыми убеждениями, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не просто наверстывали прошедшее с последней встречи время, но старались высказать – посредством нескольких кратких, как пароль, слов, намеков, интонаций, непередаваемых на чужом языке,- свое отношение к последним событиям русской истории, к тридцати пяти годам безнадежной несправедливости, последовавших за столетием пробивавшей себе дорогу справедливости и блиставших вдали надежд. Затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу «типичных американских студентов», не знающих географии, нечувствительных к шуму и смотрящих на

образование только как на средство получения в будущем выгодной службы. Потом они расспросили друг друга, как подвигается работа, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, когда они шли, задевая мимоходом стебли золотарника, луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, они заговорили о своем здоровье: Шато, казавшийся таким беспечным, с одной рукой в кармане белых фланелевых штанов и в фланелевом жилете под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело рассказал, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости, а Пнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, доктора тщетно пытаются разгадать то, что они называют «тенью за сердцем».

– Хорошее заглавие для плохого романа,- заметил Шато.

Когда они проходили мимо муравчатого холма, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами розоволицый, почтенного вида господин в легком полосатом костюме, с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малинину, с искаженным отвращением лицом.

– Я принужден вернуться за шляпой,- драматически воскликнул он, приблизившись.

– Вы знакомыми – пробормотал Шато, жестами представляя их друг другу.- Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

– Мое почтение,- сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатьем.

– Я полагал,- продолжал Граминеев, любивший в разговоре обстоятельность,- что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце жарит мои мозги. Я должен прервать работу.

Он указал на вершину холма. Там стоял, изящно выделяясь на фоне синего неба, его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой ригой, корявой яблоней и коровами.

– Могу предложить вам свою панаму,- сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы,

– Чудесно… премного благодарен,- сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.

– Минуту,- сказал Пнин.- Надо подоткнуть узлы.

Покончив с этим, Граминеев пошел наизволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна – «Волга-матушка», «Трое верных друзей» (мальчик, лошадь и собака),

«Апрельская прогалина» и т. п.- все еще красовались в музее в Москве.

– Мне кто-то говорил,- сказал Шато, меж тем как они с Пниным продолжали идти к реке,- что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?

– Да,- отвечал Пнин.- Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию, между тем как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы великолепная возможность позаняться с Граминеевым.

– Вы преувеличиваете великолепие,- мягко возразил Шато.

Они вышли к кипучей, сверкающей речке. Впадина в скале между миниатюрными верхним и нижним водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжение всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы; поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он зардел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крест и галоши.

– Посмотрите, как красиво,- сказал наблюдательный Шато.

Десятка два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с испода, с темными точками и крошечными, с оранжевой каемкой, павлиньими лунками по кромке заднего крыла; одна из скинутых Пниным галош спугнула нескольких из них и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, а потом опять опустились.

– Жаль нет здесь Владимира Владимировича,- заметил Шато.- Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых.

– Мне всегда казалось, что его энтомология – просто поза.

– Ах, нет,- сказал Шато.- Вы когда-нибудь потеряете его,- добавил он, указывая на православный крест на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеск озадачил реявшую стрекозу.

– Пожалуй, я был бы не прочь потерять его,- сказал Пнин.- Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сантиментальности. И сантиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом старании удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического.

– Не вы первый сводите религиозное чувство к осязанию,- сказал Шато, соблюдавший православные обряды и не

одобрявший агностицизма своего друга.

Слепень, слепой дуралей, приложился к лысой голове Пнина и был тотчас оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью.

С валуна поменьше того, на котором примостился Шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы – снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и но его широкой спине сбегали, трепетали петлистые лиственные тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышки и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брассом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с ритмическим фырканьем – булькая и отдуваясь, Ритмически он раздвигал ноги и выбрасывал их в коленях, и одновременно сгибал и распрямлял руки, наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом он надел крест, часы, галоши и халат.

5

Обедали на крытой веранде. Сидя рядом с Болотовыми и принимаясь размешивать сметану в красной ботвинье, в которой тренькали розовые кубики льда, Пнин автоматически возобновил давешний разговор.

– Заметьте,- сказал он,- что существует значительная разница между духовным временем Лёвина и физическим Вронского. В середине книги Лёвин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год. К тому времени, когда в воскресенье вечером, в мае 1876 года, Анна бросается под товарный поезд, она просуществовала больше четырех лет от начала романа, но в жизни Лёвиных за то же время, с 1872 по 1876 год, прошло едва три года. Это лучший из известных мне примеров относительности в литературе.

После обеда затеяли играть в крокет. Здесь предпочитали освященную традицией, но фактически неправильную расстановку ворот, при которой двое из десяти ворот скрещиваются в центре площадки, образуя так называемую Клетку, или Мышеловку. Тотчас стало ясно, что Пнин, игравший в паре с г-жой Болотовой против Шполянского и графини Порошиной, играет гораздо лучше остальных. Как только вбили в землю колы, и игра началась, он совершенно преобразился. Обыкновенно медлительный, тяжеловатый и несколько неповоротливый, он превратился в необычайно подвижного, резвого, безмолвного, лукавого горбуна. Казалось, что все время была его очередь играть. Держа молоток очень низко и элегантно раскачивая его между расставленными журавлиными ногами (он произвел небольшую сенсацию, надев нарочно для игры бермудские трусы), Пнин намечал каждый свой удар ловким прицельным помахиванием молотка, затем точно ударял по шару, и тотчас, все еще сгорбленный, пока шар еще катился, проворно переходил к тому месту, где по его расчету он должен был остановиться. Он прогонял его через воротца с геометрическим смаком, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, проходивший мимо, как тень, с двумя жестянками пива, которые он нес на некое свое особое пиршество, остановился на секунду и одобрительно покачал головой, прежде чем скрыться в кустах. К рукоплесканиям, однако, примешивались жалобы и протесты, когда Пнин с свирепым безразличием крокировал, или вернее, запускал, как ракету, шар противника. Приставляя вплотную к нему свой шар и крепко придавливая его своей удивительно маленькой ступней, он с

треском лупил по своему шару, далеко отбивая этим ударом чужой. Сюзанна, когда к ней аппеллировали, сказала, что это совершенно против правил, но Шполянская утверждала, что это вполне допустимо, и сказала, что когда она была девочкой, ее английская гувернантка называла этот удар «Гонг-Конг».

После того как Пнин стукнул об кол и все было закончено, и Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, Пнин тихо удалился на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжение взрослой жизни, снова нашло на него. Это было не боль и не сердцебиение, но, скорее, ужасное чувство утопания и растворения в том, что окружало его физически,- в закате, в красных древесных стволах, в песке, в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит один и пользуясь этим, подошла к нему («сидите, сидите!») и села рядом на скамью.

– В тысяча девятьсот шестнадцатом или семнадцатом году,- сказала она,- вам, может быть, случалось слышать мою девичью фамилью – Геллер – от ваших близких друзей.

– Нет, не помню,- сказал Пнин.

– Ну, неважно. Мы, кажется, никогда не встречались. Но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции – и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры…

– Да-да, я знаю,- сказал Пнин.

– Ее муж,- сказала Шполянская,- был очаровательный человек. Самуил Львович и я очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от Миры и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша. Вы ведь не знали Мишу? Когда-то он тоже был влюблен в Миру.

– Тшай готофф,- крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном функциональном русском языке.- Тимофей! Розочка! Тшай!

Пнин сказал Шполянской, что тоже придет через минуту, и когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложив руки на крокетном молотке, который он все еще держал.

Две керосиновые лампы уютно освещали террасу деревенского дома. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Миры, педиатра, нельзя было оторвать от шахматной партии в углу веранды, так что г-жа Белочкина велела служанке подать им туда – на специальном японском столике рядом с тем, за

которым они играли – стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и культивированный ее вид, клубнику, и лучистые золотистые варенья; и разное там печенье, вафли, сушки, сухари – вместо того, чтобы звать двух увлеченных игрою докторов за главный стол в другом конце веранды, где сидели остальные члены семьи и гости, одни ясно различимые, другие – переходящие в светящийся туман.

Слепая рука д-ра Белочкина взяла сушку; зрячая рука д-ра Пнина взяла ладью. Д-р Белочкин, жуя, уставился на брешь в своих рядах; д-р Пнин обмакнул абстрактный сухарик в проем своего стакана.

Деревенский дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же прибалтийском курорте, рядом с которым вдова генерала N. сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый восемнадцатилетний юноша, ожидающий Миру в темноте – и невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические лампочки и перетасовала людей, превратив их в пожилых эмигрантов, и прочно, безнадежно, навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел Миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему между высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в темноте с ее белым платьем. Это чувство как-то соответствовало чувству растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и, чтобы рассеять тоску, пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле будки с садовыми инструментами автомобиля, в котором находились по крайней мере двое из детей других гостей, доносилось монотонное журчанье радио-музыки.

– Вечно этот джаз, эта молодежь не может без джаза,- проворчал Пнин про себя и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Он вспоминал увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где-то они теперь, эти ее художественные снимки собак, облаков, апрельской прогалины с тенями берез на сахарно-мокром снегу, солдат, позирующих на крыше товарного вагона, закатного края неба, руки, держащей книгу? Ему вспомнилось их последнее свидание на невской набережной в Петрограде, и слезы, и звезды, и теплый, ярко-розовый шолк подкладки ее каракулевой муфты. Гражданская война (1918 – 1922) разлучила их; история расстроила их помолвку. Тимофей

пробрался на юг, где он ненадолго вступил в ряды Деникинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, а потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика родом из России. Как-то в начале тридцатых годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женою в Берлин, где ей хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером, в русском ресторане на Курфюрстендамме, он снова увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных бровей, застенчиво и лукаво, и контур ее выпуклых скул, и ее удлиненные глаза, и хрупкое изящество ее рук и щиколок были все те же, были бессмертны, а потом она вернулась к мужу, который ушел к вешалкам за пальто, и это было все – но укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить.

То, о чем упомянула болтливая Шполянская, вызвало в его воображении образ Миры с небывалой силой. Это разбередило его. Вынести это хотя бы на мгновение можно было только в отрешенности неизлечимой болезни или в состоянии душевного равновесия перед близкой смертью. Чтобы рационально существовать, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину,- не потому, что память о юношеском романе, банальном и кратком, угрожала его душевному покою (увы, воспоминание о браке с Лизой обладало достаточной властью, чтобы вытеснить любое прежнее увлечение), а потому, что, положа руку на сердце, никакой совести, а значит, и никакому самосознанию нельзя было существовать в мире, где возможны были такие вещи, как Марина смерть. Надо было забыть – потому что нельзя было жить с мыслью, что эту вот милую, хрупкую, нежную молодую женщину, вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане, привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, биенье которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И оттого, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей, и множество раз воскресала – чтобы снова и снова умереть, уводимая вышколенной медицинской сестрой на прививку грязью, бациллами столбняка, битым стеклом, отравленная под фальшивым душем с синильной кислотой, сожженная заживо в яме на пропитанной бензином куче буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что ее, как слишком слабую, чтобы работать (хотя

все еще улыбающуюся, все еще находящую силы помогать другим еврейским женщинам) отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в Бухенвальд, в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Эттерсберг. Это в часе ходьбы от Веймара, где гуляли Виланд, Гердер, Гете, Шиллер, несравненный Коцебу и другие. «Aber warum, но почему,- сокрушался бывало д-р Гаген, этот кротчайший из смертных,- почему надо было устроить этот ужасный лагерь так близко!» – ибо он и впрямь был близко – всего в пяти милях от сердца культуры Германии – «этой нации университетов», как элегантно выразился, анализируя положение в Европе во время недавней актовой речи президент Уэйндельского университета, известный своими mots justes, речи, в которой он отпустил комплимент и по адресу другого застенка «России – страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и прекрасных людей»,

Пнин медленно брел под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем непрерывном заседании решают участь живых.

Комары становились все назойливее. Пора идти пить чай. Пора играть в шахматы с Шато. Эта странная схватка прошла, снова можно было дышать. На далеком гребне холма, на том самом месте, где несколько часов назад стоял граминеевский мольберт, темнели в профиль два силуэта на фоне раскаленного, как угли, неба. Они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. С дороги нельзя было разобрать, была ли это дочка Порошиных со своим кавалером, или это Нина Болотова с молодым Порошиным, или просто эмблематическая пара, легкой рукой художника помещенная на последней странице гаснувшего дня Пнина.

Глава шестая

1

Начался осенний семестр 1954 года. На мраморной шее невзрачной Венеры в сенях здания Гуманитарных Наук снова появился малиновый отпечаток губной помады, имитация поцелуя. В «Уэйндельских Ведомствах» снова дебатировалась «Проблема Паркования» автомобилей. Усердные первокурсники снова вписывали на полях библиотечных книг полезные пояснения вроде «Описание природы» или «Ирония»; а один особенно искушенный школяр уже успел подчеркнуть лиловыми чернилами в прелестном издании стихов Малларме трудное слово «oiseaux» и нацарапал сверху «птицы». Осенние вихри снова залепили палой листвой одну сторону решотчатой галлереи, которая вела из Гуманитарных Наук во Фриз-Холл. Снова в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые бабочки-данаиды, медленно уплывая на юг, не совсем подобрав черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца.

А в университете все шло, скрипя, своим чередом. Неутомимые аспиранты со своими беременными женами по-прежнему строчили диссертации о Достоевском и Симонне де Бовуар. Литературные отделения все еще пребывали под бременем уверенности, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн великие писатели. Все так же были в моде синтетические слова типа «конфликт» и «модель». Как всегда, бесплодные инструкторы успешно занимались «производительным трудом», рецензируя книги более плодовитых коллег, и как всегда, те из профессоров, кому повезло, пожинали или собирались пожинать плоды различных субсидий, присужденных им в начале года. Так, например, забавное маленькое пособие доставило разносторонне одаренной чете Старов (Христофору Стару с младенческим лицом и его молоденькой жене Луизе) из Отделения Изящных Искусств уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти поразительные молодые люди каким-то образом получили разрешение проникнуть. Дуглас В. Томас (для друзей – Том), профессор антропологии, получил десять тысяч долларов от Мандовильского фонда для исследования гастрономических обычаев кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное учреждение поддержало

д-ра Бодо фон Фальтернфельса, чтобы он мог завершить «библиографию, обнимающую опубликованные и рукописные работы последних лет, посвященные критической оценке влияния последователей Ницше на современную мысль». И наконец, особенно щедрая стипендия позволила прославленному Уэйндельскому психиатру, д-ру Рудольфу Аура, испытать на десяти тысячах учащихся начальной школы так называемый «Пальцемакательный Тест», в котором ребенку предлагают окунуть указательный палец в чашки с цветной жидкостью, после чего отношение длины пальца к его намоченной части измеряется и вычерчивается на разных увлекательных диаграммах.

Начался осенний семестр, и д-р Гаген оказался в трудном положении. Летом один старый приятель неофициально запросил его, не хотел ли бы он принять исключительно доходную профессуру в Сиборде, гораздо более значительном университете, чем Уэйндель. Эта часть проблемы разрешалась сравнительно просто. С другой стороны, его расхолаживало то, что созданное им с такой любовью отделение, с которым куда более богатое средствами Французское отделение Блоренджа не могло соперничать в культурном значении, попадает в когти коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, вытащил из Австрии, и который теперь подкапывался под него – например, с помощью закулисных маневров прибрал к рукам Europa Nova, влиятельное квартальное издание, основанное Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена – о котором он пока еще ничего не говорил своим коллегам – должен был иметь и еще более печальное последствие: внештатный профессор Пнин неминуемо оставался за бортом. В Уэйнделе никогда не было постоянного Русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического Германского отделения, которое использовало его в своем как бы подотделе Сравнительной литературы, в одном из своих разветвлений. И уж, конечно, Бодо просто назло обрубит эту ветвь, и Пнин, у которого не было постоянного контракта с Уэйнделем, вынужден будет уйти – если только его не приютят при какой-нибудь другой литературно-лингвистической кафедре. Отделениями, где такая возможность как будто имелась, были только Английское и Французское. Но Джек Коккерель, глава Английского, относился с неодобрением ко всему, что делал Гаген, Пнина всерьез не принимал, и сверх того, неофициально, но не без надежды, торговался о приобретении услуг одного известного англо-русского писателя, способного, если нужно, читать все те курсы, которые необходимы были Пнину, чтобы остаться. И Гаген обратился к Блоренджу как к последней инстанции.

2

У Леонарда Блоренджа, возглавлявшего кафедру Французской литературы и языка, были две интересные особенности: он не любил литературы и не знал по-французски. Это не мешало ему покрывать огромные расстояния, чтобы присутствовать на съездах современного языковедения, на которых он щеголял своим невежеством так, словно это была какая-то царственная причуда, и парировал любую попытку завлечь его в сети «парле-ву» мощными выпадами здорового масонского юмора. Высокочтимый добыватель денег, он незадолго перед тем уговорил одного престарелого богача, которого безуспешно обхаживали три больших университета, ассигновать фантастическую сумму на целую оргию изысканий, проводимых аспирантами под руководством канадца д-ра Славского, для сооружения на холме в окрестностях Уэйнделя «Французской деревни», двух улиц и площади – точной копии древнего городка Ванделя в Дордони. Несмотря на всегдашнее присутствие грандиозного начала в административных озарениях Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Случайно он учился в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Уэйндельского университета, и в продолжение многих лет, даже после того как тот потерял зрение, они регулярно ездили вместе удить рыбу на унылое, взъерошенное ветром озеро в конце немощеной дороги, окаймленной иван-чаем, в семидесяти милях к северу от Уэйнделя, в какой-то тоскливой местности – карликовые дубы и сосновые питомники – которые в мире природы соответствуют городским трущобам. Его жена, милая женщина из простых, за глаза называла его в своем клубе «профессор Блорендж». Он читал курс под названием «Великие французы», который он дал своей секретарше списать из комплекта «Гастингского Исторического и Философского Журнала» за 1882- 1894 годы, найденного им на чердаке и не представленного в университетской библиотеке.

3

Пнин только что снял маленький дом, и пригласил Гагенов, Клементсов, Тэеров и Бетси Блисс на новоселье. Утром этого дня добрейший д-р Гаген сделал отчаянный визит в контору Блоренджа и открыл ему, и только ему одному, всю ситуацию. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс – убежденный анти-Пнинист, Блорендж сухо заметил, что он разделяет это убеждение, более того – познакомившись с Пниным в обществе, он «положительно почувствовал» (прямо удивительно, до чего эти практические люди склонны чувствовать, а не думать), что Пнина нельзя даже близко подпускать к Американскому университету. Стойкий Гаген сказал, что в течение нескольких лет Пнин великолепно справлялся с Романтическим Движением, и уж наверное мог бы совладать с Шатобрианом и Виктором Гюго под эгидой Французского отделения.

– Этой братьей занимается д-р Славский,- сказал Блорендж.- Вообще я иногда думаю, что мы чересчур напираем на литературу. Посудите сами – на этой неделе мисс Мопсуестия начинает Экзистенциалистов, этот ваш Бодо взял Ромэна Роллана, я читаю о генерале Буланже и де Беранже. Нет, с нас решительно довольно всей этой музыки.

Гаген, ставя на свою последнюю карту, сказал, что Пнин мог бы преподавать французский язык: как у многих русских, у нашего друга в детстве была француженка гувернантка, и после революции он прожил более пятнадцати лет в Париже.

– Вы хотите сказать, – строго спросил Блорендж, – что он может говорить по-французски?

Гаген, отлично знавший особые требования Блоренджа, заколебался.

– Говорите прямо, Герман,- да или нет?

– Я уверен, что он сможет приноровиться.

– Так что же – он говорит или не говорит?

– Ну, говорит.

– В таком случае,- сказал Блорендж,- мы не можем использовать его на начальном курсе французского. Это было бы несправедливо по отношению к нашему Смиту, который в этом году ведет элементарный курс, и от которого, естественно, требуется быть только на один урок впереди класса по учебнику. Правда, нашему Хашимото нужен помощник для его переполненной переходной группы. Может быть, этот ваш приятель не только говорит, но и читает по-французски?

– Повторяю, он может приноровиться,- увильнул Гаген.

– Знаю я, что значит приноровиться, – сказал Блорендж нахмурясь.- В 1950 году, когда Хаш был в отъезде, я нанял одного швейцарского лыжного инструктора, так он контрабандой протащил мимеокопии какой-то старой французской антологии. Нам пришлось потом потратить чуть ли не целый год, чтобы вернуть класс к первоначальному уровню. Словом, если этот, как его, не умеет читать по-французски -

– Боюсь, что умеет,- со вздохом сказал Гаген.

– Тогда он вообще нам не годится. Как вы знаете, мы верим только в граммофонные записи разговоров и прочие механические пособия. Никаких книг не допускается.

– Остается еще курс Совершенствования Языка,- пробормотал Гаген.

– Его ведем мы с Каролиной Славской,- ответил Блорендж.

4

Для Пнина, который пребывал в полном неведении относительно этих забот своего покровителя, новый осенний семестр начался особенно удачно: никогда еще у него не было так мало студентов, то есть так много времени для собственных изысканий. Изыскания эти давно уже вступили в ту волшебную пору, когда поиски перерастают конечную цель, и образуется новый организм, паразит, так сказать, на созревающем плоде. Пнин отвращал духовный взор от конца своего труда, который виделся ему так отчетливо, что можно было различить шутиху астериска и вспышку «sic!». Этого берега надо было избегать, как всего, что убивает наслаждение бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно заполняли коробку из-под башмаков своей плотной массой. Сопоставление двух легенд; драгоценная подробность обычая или одежды; ссылка, проверенная и оказавшаяся фальшивой по невежеству, небрежности или недобросовестности автора; мурашки в хребте от счастливой догадки; и все бесчисленные радости бескорыстной эрудиции – все это развратило Пнина, превратило его в счастливого, одурманенного сносками маниака, готового потревожить книжных клещей в каком-нибудь скучном, в фут толщиною, фолианте только затем, чтобы найти в нем ссылку на другой, еще скучнее. А в другом, более человеческом плане, имелся кирпичный домик, который он нанял на Тоддовой улице, на углу Утесного проспекта.

Прежде там жила семья покойного Мартина Шеппарда, дяди прежнего хозяина Пнина на Ключевой, многие годы управлявшего имением Тоддов, которое теперь приобрела Уэйндельская городская управа, чтобы превратить его просторный дом в модерную санаторию. Плющ и хвоя скрывали запертые его ворота, верхушка которых была видна Пнину по другую сторону Утесного проспекта из северного окна его нового жилища. Проспект этот был перекладиной буквы «Т», в левой части которой он обитал. Напротив фасада его дома, сейчас же за Тоддовой улицей (вертикаль этого «Т»), старые ильмы отгораживали песчаную обочину ее заплатанного асфальта от кукурузного поля на востоке, а вдоль западной ее стороны, за забором, полчище молодых елок, совершенно одинаковых выскочек, шагало в направлении кампуса чуть не до самой соседней резиденции, большого сигарного ящика-дома тренера университетской футбольной команды,- стоявшего в полумиле к югу от дома Пнина.

Чувство, что он живет один в отдельном доме, было для Пнина чем-то до странного упоительным и удивительно отвечало наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного тридцатью годами бесприютности. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина – ангельская, деревенская и совершенно непроницаемая, составлявшая блаженную противоположность бессменной какофонии, осаждавшей его с шести сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ. А до чего этот крохотный домик был поместителен! Пнин с благодарным удивлением думал, что если бы не было русской революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Франции, ни натурализации в Америке, то все – и то в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей! – было бы точно так же: профессура в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, внутри старые книги, снаружи поздние цветы. То был, говоря точнее, двухэтажный дом вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял, с палисадником аршин в пятьдесят, оканчивался сзади отвесной стеной мшистого утеса с коричневым кустарником на вершине. Едва заметная колея вдоль южной стороны дома вела к выкрашенному мелом гаражику для жалкой машины, которой Пнин обладал. Странная, корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель биллиардной лузы – впрочем без дна – свисала зачем-то над гаражными воротами, на белую поверхность которых она отбрасывала тень – такую же четкую, как и ее плетеный узор, но только крупнее и синее. На пустырь между гаражом и утесом захаживали фазаны. Сирень – эта краса русских садов, весеннюю роскошь которой, сплошь из меда и гуда, так предвкушал мой бедный Пнин – теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево, которого Пнин, привычный к березам-липам-ивам-осинам-тополям-дубам, не мог определить, роняло свои крупные, сердечком, ржавого цвета листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца.

Подозрительного вида нефтяная печь в подвале что было сил подавала сквозь отдушины в полах свое слабое теплое дыхание. Кухня была здоровая и веселая на вид, и Пнин долго разбирался во всякой утвари, котелках и горшках, тостерах и сковородах, которые достались ему в придачу к дому. Гостиная была меблирована скудно и серо, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая, с выцветшим или стертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где Пнин задумал устроить для своих гостей ужин a la

fourchette, пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые обаятельно загорались на стенке буфета и напоминали моему сантиментальному другу цветные стекла на террасах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз когда он проходил мимо посудного шкапа, тот принимался дребезжать, и это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. Второй этаж состоял из двух спален, служивших некогда обителью множеству маленьких детей и случайных взрослых. Полы были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стены комнаты, которую Пнин сделал своей спальней, он открепил картоновый красный вымпел с загадочным словом «Кардиналы», намалеванным на нем белой краской; но крошечной качалке розового цвет – для трехлетнего Пнина – было позволено остаться в своем углу Отслужившая свое швейная машина занимала проход в ванную, где по обыкновению короткая ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась также медленно, как бассейны и резервуары в русских задачниках.

Теперь он был готов устроить прием. В гостиной был диван, на котором могли поместиться три человека, имелись два вольтеровских кресла, одно туго набитое глубокое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовлетворенья. Основа была, но не было букета. Да, он был несказанно рад Клементсам (настоящие люди – не то что большинство университетских чучел), с которыми он имел столько оживленных бесед в те дни, когда был у них жильцом; да, он был весьма признателен Герману Гагену за множество добрых услуг вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно устроил; да, г-жа Гаген была, на Уэйндельском жаргоне, «чудный человек»; да, г-жа Тэер всегда приходила к нему на помощь в библиотеке, а ее муж обладал отрадной способностью доказывать, насколько человек может быть молчалив, если он решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального, и старый Пнин вспоминал дни рождения своего детства – пол-дюжины приглашенных детей, почему-то всегда одних и тех же, и тесные башмаки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны, и хулиган-двоюродный брат начинал выделывать пошлые и глупые штуки с чудесными новыми игрушками; ему вспомнился тоже звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся, однообразной игры в прятки, он, просидев битый час в неудобном

укрытии, выбрался из темного и затхлого шкапа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам.

При посещении знаменитого гастрономического магазина между Уэйндельвилем и Изолой он наткнулся на Бетти Блисс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах, с припевом «Как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, чтобы сказать, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта, с Шарлоттой, его хорошенькой, веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старика Кэрроля, старшего швейцара Фриз-Холла, с сыном Франком, единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба; но Франк был в армии, а старик Кэрроль откровенно сказал, что «нам с хозяйкой не след якшаться с профессорами». Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал (об усовершенствовании учебной программы) во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница президента Пура ответила, что ее дядя теперь «никого не посещает, кроме нескольких близких друзей». Он уже хотел было отказаться от намерения оживить свой список, когда ему пришла в голову совершенно новая и просто замечательная идея.

5

И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только человека, необычайно похожего на вашего дантиста или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным этой тройки был, как это ни странно, я сам; и я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров Школы Ускоренного Изучения Языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать летейский и гречневый языки, было целых шестеро Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, уникального экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже Пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить (на девятом году своего пребывания в Уэйнделе), что долговязый пожилой господин в очках, с профессорской, стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы – человек, известный Пнину как профессор Томас Д. Войницкий, занимающий кафедру орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах,- не всегда был профессор Войницкий. Временами он, так сказать, перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но окрестил, с характерной для иностранца склонностью к каламбурам, Двойницкий. Мой друг и соотечественник скоро смекнул, что никогда он не может сказать наверное, действительно ли этот похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной,- был его случайный знакомый, орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войницкого незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно тою же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войницкий (или Двойницкий) шагали быстро; и порою Пнин,

чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по корридору нижнего этажа; но едва успел он обрадоваться остроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он чуть не столкнулся с Двойницким (или Войницким), тяжело топавшим по корридору нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал в своих усилиях избегать Войницкого или того, кто прикидывался Войницким. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом – приводившие в замешательство сходства, которые, однако, он один замечал,- озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Т. Д. Войницких.

В день назначенного раута, когда он кончал свой поздний завтрак в Фриз-Холле, Войницкий, или его двойник (ни тот, ни другой никогда прежде не появлялись там) вдруг подсел к нему и сказал:

– Давно хотел спросить вас кой о чем – вы ведь преподаете русский, не правда ли? Летом я прочитал в одном журнале статью о птицах -

(«Войницкий! Это Войницкий!» – сказал Пнин про себя и тотчас решился действовать).

– Так вот, автор этой статьи – забыл его фамилью, кажется русская – говорит между прочим, что в Скофской губернии – я правильно произношу? – местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фаллический символ, но мне интересно, знаете ли вы об этом обычае?

И тут у Пнина мелькнула блестящая мысль.

– Сударь, я к вашим услугам,- сказал он с ноткой восторга, задрожавшей в его горле,- ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального Войницкого – любителя птиц. – Да, сударь. Мне известно все об этих жавронках, об этих alouettes, этих – надо посмотреть в словаре английское название. И вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером. Половина девятого, после полудня. Небольшая soirйe по случаю новоселья, не более того. Приведите также супругу – или, может быть, вы Кандидат Сердцеведения?

(О, каламбурщик Пнин!)

Его собеседник сказал, что не женат. Он с удовольствием придет, Какой адрес?

– Дом девятьсот девяносто девять, Тодд Родд, очень просто! В самом-самом конце Тодд Родд, там, где она соединяется с Утесной авеню: Маленький кирпичный дом и большой черный утес.

6

Вечером этого дня Пнин едва мог дождаться начала кулинарных операций. Он приступил к ним вскоре после пяти, и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сибаритскую домашнюю куртку синего шолка, с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже двадцать лет тому назад – как время летит! С этой курткой он носил пару старых штанов от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкапчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался его русский нос картошкой. Он обнажил свои синтетические зубы. Исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье еще держалось. Оно держалось. Большим и указательным пальцами он ухватил в ноздре длинный волосок, повторным сильным рывком выдернул его и смачно чихнул, завершив залп здоровым «А!».

В половине восьмого явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была полненькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовой каемкой смотрели на вас с той же чистосердечной симпатией. Она носила все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый рубец виднелся на ее нежном горле. Но на ее пухлой руке появилось обручальное колечко с миниатюрным бриллиантом, и она с жеманной гордостью продемонстрировала его Пнину, и тот смутно почувствовал укол грусти. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней – и даже начал было, но душой она была горничная, и это в ней тоже не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она говорит – я говорю – она говорит». Ничто в мире не могло разуверить ее в мудрости и остроумии ее любимого женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера – общая еще двум-трем молодым мещаночкам в ограниченном кругу знакомых Пнину женщин – легонько, выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающее ей о какой-нибудь ее мелкой провинности: вы говорите «Бетти, вы забыли вернуть мне книгу» или «Мне кажется, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж», и прежде чем ответить,

она пускает в ход этот якобы учтивый прием, отдергивая короткие пальцы в то самое мгновение, когда они прикасаются к вашей кисти.

– Он биохимик, он теперь в Питтсбурге,- сказала Бетти, помогая Пнину разложить намазанные маслом ломти французской булки кругом горшочка свежей, глянцевито-серой икры и вымыть три крупные виноградные грозди. Имелась также большая тарелка холодного мяса, настоящий немецкий пумперникель и блюдо совершенно особенного винегрета, в котором креветки соседствовали с пикулями и горошком, и крошечные сосиски в томатном соусе, и горячие пирожки с грибами, с мясом, с капустой, и четыре сорта орехов, и всякие интересные восточные сласти. Напитки были представлены бутылкой виски (Беттин вклад), рябиновкой, гренадиновым ликером и, конечно, пнинским пуншем, пьянящей смесью охлажденного Шато Икем, помплимусового сока и мараскина, которую хозяин уже начал торжественно приготовлять в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с декоративным орнаментом из переплетающихся жилок и листьев кувшинок.

– Господи! Какая прелесть! – воскликнула Бетти. Пнин оглядел чашу с приятным удивлением, как-будто видел ее в первый раз. Это, сказал он, подарок Виктора. Вот как, а как он поживает, как ему нравится Сент-Барт? Так себе. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца работал в Йосемитской гостинице. Где? В отеле в горах Калифорнии. Ну и вот, он вернулся в школу и вдруг прислал мне ее.

По какому-то трогательному совпадению чаша прибыла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал готовиться к приему. Она пришла в коробке внутри другой коробки, которая лежала в третьей, и была упакована в массе обильной мягкой стружки и бумаги, разлетевшейся по кухне как буря карнавального серпантина. Появившаяся, наконец, чаша была одним из тех подарков, которые с самого начала вызывают в душе одаренного цветной образ, геральдическое пятно, обозначающее милую сущность дарителя с такой символической силой, что матерьяльные признаки вещи как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, но внезапно и навеки обретают сверкающее бытие, когда их похвалит посторонний человек, которому неведома истинная прелесть подарка.

7

Домик огласился музыкальным звоном, и вошли Клементсы с бутылкой французского шампанского и охапкой георгин.

Коротко остриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоана была в своем старом черном шолковом платье, которое выглядело наряднее всего, что могли придумать другие профессорские жены, и как всегда было одно удовольствие смотреть, как почтенный, лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой руки, которую Джоана, единственная из всех Уэйндельских дам, умела подать как раз на уровень удобный для поцелуя русского джентльмена. Лоренс, еще больше располневший, в элегантном сером фланелевом костюме, тяжко погрузился в мягкое кресло и сейчас же схватил первую попавшуюся книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа на отлете очки, он посмотрел в сторону, пытаясь вспомнить что-то, что он всегда хотел проверить, но теперь не мог припомнить, и эта поза еще усилила его поразительное сходство, несколько en jeune, с Ван-Эйковым Каноником ван дер Пэлем, с его массивной челюстью и с пушком нимба вокруг головы, застывшим перед удивленной Богородицей, к которой какой-то статист, наряженный Св. Георгием, пытается привлечь внимание почтенного Каноника. Все тут было: и узловатый висок, и печальный, задумчивый взор, и складки, и борозды лица, и тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке.

Едва Клементсы уселись, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «Профессор Войницкий», но на его беду Джоана прервала его возгласом: «Ах, да мы знаем Томаса! Кто же не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папиросы.

– Мне казалось, Томас,- заметил Клементс, закладывая одну жирную ногу на другую,- что вы теперь в Гаване интервьюируете лазающих на пальмы рыбаков.

– Я и поеду, только во второй половине года,- сказал профессор Томас.- Собственно, большая часть полевых исследований уже выполнена другими.

– А все-таки признайтесь, приятно было получить эту субсидию? – На нашем отделении,- невозмутимо ответил Томас,- нам приходится предпринимать много трудных путешествий. Меня может даже занести к Наветренным островам. Если,- добавил он с глухим смешком,- сенатор МакКарти не прикончит

заграничные путешествия.

– Он получил пособие в десять тысяч долларов,- сказала Джоана Бетти, лицо которой сделало реверанс, когда она скорчила ту особенную гримасу (медленный полукивок и натянутые подбородок и нижняя губа), которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, автоматически означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, появление в справочнике «Кто-что» или знакомство с герцогиней.

Тэеры, прибывшие в новом автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Д-р Гаген, добравшийся пешком, триумфально подымал вверх бутылку водки.

– Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер,- сказал добродушный Гаген.

– Доктор Гаген,- сказал Томас, пожимая ему руку,- надеюсь, Сенатор не видел, как вы расхаживаете с этим по городу. Бравый Доктор заметно постарел за последний год, но был как всегда крепок и прямоуголен, со своими сильно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и прямоугольной копной поседевших волос, несколько напоминавший подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая нейлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. Г-жа Гаген в последнюю минуту, увы, не смогла прийти из-за ужасной мигрени.

Пнин принес коктейли, «или лучше сказать – фламинго-тейли, специально для орнитологов»,- лукаво сострил он.

– Благодарю вас,- пропела г-жа Тэер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови, с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание, и удовольствия. Привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет сорока с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлащенными волосами, она была кузиной-провинциалкой элегантной, непринужденно державшейся Джоаны Клементс, которая изъездила весь мир, бывала даже в Турции и Египте, и была замужем за наиболее оригинальным и наименее любимым ученым Уэйндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тэер, Роя, унылого и неразговорчивого сотрудника Английского отделения, которое за вычетом его кипучего главы Коккереля было прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых башмаков, две бежевые заплаты

на локтях, черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была Поэзия Восемнадцатого Века, отъезжее поле Роя, сильно общипанный выгон с еле слышным ручьем и с островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами; это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу (предыдущее столетие), где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей, и от Раннего Девятнадцатого Века д-ра Шапиро, с его дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тэер, избегавший говорить о своем предмете, и вообще избегавший разговоров о чем бы то ни было, потратил десять лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмоплетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки, и по трезвом размышлении, задним числом объявят его величайшим литературным достижением нашего времени,- и почем знать, может быть, вы и правы, Рой Тэер.

Когда все принялись уютно потягивать и похваливать коктейли, профессор Пнин присел на охнувший пуф подле своего нового друга и сказал:

– Я желал бы доложить вам, сударь, об этих скайлярках (по-русски – жаворонках), о которых вы изволили спрашивать меня. Возьмите вот это с собой домой. Я тут настукал на пишущей машинке сжатое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ожидает ужин a la fourchette.

8

Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. Явился пунш.

– Боже, Тимофей, да где вы достали эту просто божественную чашу! – воскликнула Джоана.

– Мне подарил ее Виктор.

– Но где он *достал ее?*

– В антикварном магазине в Крантоне, я думаю.

– Да ведь она, должно быть, стоила целое состояние.

– Один доллар? Десять долларов? Меньше, быть может?

– Десять долларов – вздор какой! Две сотни, я бы сказала. Да вы только взгляните на нее! Взгляните на этот вьющийся узор. Знаете что, вам надо показать ее Коккерелям. Они знают толк в старинном стекле. У них есть Дунморский кувшин, который выглядит бедным родственником этой чаши.

Маргарита Тэер в свою очередь полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка, на что профессор Пнин заметил, что, primo, он хотел бы, чтобы каждый сказал, так же ли хорошо содержимое, как и контейнер, и, что, secundo, башмачки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки – по-французски vair. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного из слов, ибо verre лучше запоминается, чем vair, которое, по его мнению, происходит не от varius, разнообразный, а от веверицы, славянского слова, означающего красивый, бледный, как у белки зимой, мех с голубоватым, или лучше сказать, сизым, колумбиновым оттенком – от латинского columba, голубь, как кое-кому здесь должно быть хорошо известно – так что видите, госпожа Файр, вы были, в общем, правы.

– Содержимое превосходно,- сказал Лоренс Клементс. – Этот напиток просто упоителен,- сказала Маргарита Тэер. («Я всегда думал, что «колумбина» – это какой-то цветок»,- сказал Томас Бетти, и та не задумываясь согласилась.)

Затем был пересмотрен возраст нескольких детей присутствовавших. Виктору скоро будет пятнадцать. Эйлин, внучке старшей сестры г-жи Тэер, было пять. Изабелле было двадцать три, и ей страшно нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери д-ра Гагена было двадцать четыре года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой, Дорианной Карен, знаменитой фильмовой звездой

двадцатых годов.

Зазвонил телефон. Кому-то нужно было поговорить с г-жой Шеппард. С совершенно необычной для него в таких случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отбарабанил ее новый адрес и номер телефона, но и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне.

9

К десяти часам, благодаря пнинскому пуншу и виски Бетти, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи г-жи Тэер под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она угостила своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была банальная служебная история, но трансформация ее голоса при переходе от мисс Пищалкиной к мистеру Басову, а также сознание того, что вечер удался, заставляли Пнина склонять голову и восторженно хохотать в ладошку. Рой Тэер слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа, и вежливо внимал Джоане Клементс, которая, когда бывала немного навеселе, как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы (чтобы отделить придаточную или заново разогнаться) глубокими добавочными придыханиями: «Но не кажется ли вам – хо – что он – хо – практически во всех своих романах – хо – старается – хо – показать причудливое повторение некоторых положений?». Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением закусок. В нише Клементс мрачно вращал неторопливый глобус, между тем как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, к которым он прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежий анекдот про г-жу Идельсон, поведанный г-жой Блорендж г-же Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги.

– Это не вполне годится для ваших целомудренных ушей, Тимофей,- сказал Гаген Пнину, который всегда говорил, что не в состоянии понять пуанты «скабрезных анекдотов»,- тем не менее -

Клементс отошел и присоединился к дамам. Гаген начал заново рассказывать свою историю, а Томас – заново ухмыляться. Пнин с отвращением махнул рукой на рассказчика русским жестом «ах, бросьте, право», и сказал:

– Я слышал точно такой же анекдот тридцать пять лет назад в Одессе, и даже тогда не мог понять, что тут смешного.

10

В еще более поздней стадии вечера опять произошли некоторые перемещения. На тахте в углу скучавший Клементс листал альбом «Фламандских шедевров», подаренный Виктору его матерью и оставленный им у Пнина. Джоана сидела на низкой скамеечке у колена своего мужа с тарелкой винограда в подоле широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уйти, не огорчив этим Тимофея. Остальные слушали Гагена, обсуждавшего современное образование.

– Вы будете смеяться,- сказал он, бросая острый взгляд на Клементса,- который покачал головой, отводя это обвинение, и затем передал альбом Джоане, показывая там что-то, что вызвало у него внезапный приступ веселья.

– Вы будете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из тупика – одну каплю, Тимофей, достаточно – это запереть студента в звуконепроницаемой келье и упразднить лекционный зал.

– Да, это то самое,- тихонько сказала Джоана мужу, возвращая ему альбом,

– Я рад, что вы согласны со мной, Джоана,- продолжал Гаген.- Тем не менее, меня называют enfant terrible за то, что я проповедую этот взгляд, и, может быть, вы не так легко согласитесь со мной, когда дослушаете до конца. В распоряжении изолированного студента будут граммофонные пластинки по любым предметам -

– Да, но индивидуальность лектора,- сказала Маргарита Тэер,- она ведь тоже что-то значит.

– Ничего! – крикнул Гаген,- Вот в чем трагедия! Кому, например, нужен он,- он указал на сияющего Пнина,- кому нужна его индивидуальностью Никому! Они без колебаний откажутся от великолепной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

– Можно было бы показывать Тимофея по телевизору,- сказал Клементс.

– О, это было бы чудесно! – сказала Джоана, озаряя улыбкой своего хозяина, а Бетти энергично закивала.

Пнин низко поклонился им, разводя руками со значением «обезоружен».

– А что думаете вы о моем бунтарском проекте? – спросил Гаген у Томаса.

– Я могу вам сказать, что думает Том,- сказал Клементс, разглядывая все ту же репродукцию в раскрытой у него на

коленях книге. Том думает, что лучший метод преподавания чего бы то ни было – это устраивать в классе обсуждения, то есть позволять двум десяткам юных оболтусов и паре нахальных неврастеников обсуждать в продолжение пятидесяти минут что-то, о чем ни они, ни преподаватель ничего не знают. Я вот уже три месяца,- продолжал он без всякого логического перехода,- ищу эту картину, и вот нашел. Издатель моей новой книги о Философии Жеста просил у меня мой портрет, а мы с Джоаной знали, что у какого-то старого мастера мы видели чрезвычайно на меня похожий, но не могли припомнить даже его эпоху. И вот он здесь, прошу. Единственно, что тут нужно подретушировать, это добавить спортивную рубашку и убрать руку этого воина.

– Я решительно протестую,- начал Томас.

Клементс передал раскрытую книгу Маргарите Тэер, и та прыснула.

– Я протестую, Лоренс,- сказал Том.- Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений – это более трезвый подход к проблеме образования, чем старомодная формальная лекция.

– Конечно, конечно, – сказал Клементс.

Джоана с трудом поднялась и прикрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин предложил снова его наполнить. Г-жа Тэер посмотрела на свои часики и потом на мужа. Мягкий зевок растянул рот Лоренса. Бетти спросила Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в Санта-Кларе, на Кубе. Гаген попросил стакан воды или пива. «Кого он мне напоминаете – вдруг подумал Пнин.- Эриха Винда? Почему? Внешне они совершенно не похожи».

11

Место действия финальной сцены – прихожая. Гаген не мог отыскать трость, с которой он пришел (она завалилась за сундук в чулане).

– А я, кажется, оставила свою сумочку там, где сидела,- сказала г-жа Тэер, легонько подталкивая своего задумчивого мужа в направлении гостиной.

Пнин и Клементс, разговорившиеся в последнюю минуту, стояли по обе стороны двери в гостиную, как две раскормленные кариатиды, и втянули животы, пропуская молчаливого Тэера. В середине комнаты стояли профессор Томас и мисс Блисс – он, заложив руки за спину и то и дело подымаясь на носки, она – с подносом в руками говорили о Кубе, где, как ей казалось, довольно долго жил двоюродный брат ее жениха. Тэер неуверенно переходил от кресла к креслу и обнаружил у себя в руках белую сумку, абсолютно не зная, где он ее подобрал, потому что голова его была занята еще смутным очертанием строк, которые ему предстояло записать позднее этой ночью:

Сидели, пили; всяк в себе таил прошедшее, и каждому судьбою на свой особый час будильник был поставлен. Кисть взметнулась; муж с женою переглянулись…

Тем временем Пнин спросил Джоану Клементс и Маргариту Тэер, не хотят ли они взглянуть, как он устроил верхние комнаты. Эта мысль привела их в восторг. Он повел их. Его, так называемый, kabinet выглядел очень уютно теперь, когда его исцарапанный пол был аккуратно покрыт более или менее пакистанским ковром, который он когда-то приобрел для своего служебного кабинета, а недавно молча и решительно выдернул из-под ног огорошенного Фальтернфельса. Клетчатый плэд, под которым Пнин пересек океан, покинув Европу в 1940 году, и кое-какие местного происхождения подушки задрапировали неустранимую кровать. Розовые полки, на которых он нашел несколько поколений детских книг – от «Тома Чистильщика Сапог, или Дороги к Успеху» Горация Алджера (1889), через «Рольфа в Лесах» Эрнеста Томсона Ситона (1911), до «Комптоновской Иллюстрированной Энциклопедии» издания 1928 года, в десяти томах, с расплывчатыми маленькими фотографиями,- теперь были нагружены тремястами шестьюдесятью пятью томами из библиотеки Уэйндельского колледжа.

– Как подумаешь, что я их все проштемпелевала,- вздохнула госпожа Тэер, закатывая глаза с притворным ужасом.

– Некоторые зарегистрировала госпожа Миллер,- сказал Пнин, убежденный сторонник исторической правды.

В спальне посетительниц более всего поразила большая складная ширма, защищавшая двуспальную кровать с четырьмя колонками по углам от пронырливых сквозняков, а также вид из ряда маленьких окошек: темная стена скалы, круто поднимавшаяся футах в пятидесяти, с полоской бледного звездного неба над черной растительностью на ее вершине. На задней лужайке Лоренс прошагал в тень, пересекая отражение окна.

– Наконец-то вы в самом деле удобно устроились,- сказала Джоана.

– И знаете, что я вам сейчас скажу,- отвечал Пнин конфиденциальным тоном с ноткой торжества, зазвеневшей в его голосе.- Завтра утром, под покровом тайны, я увижусь с господином, который хочет помочь мне купить этот дом!

Они снова сошли вниз. Рой вручил жене сумку Бетти. Герман нашел свою палку. Маргаритину сумку разыскивали. Снова появился Лоренс.

– До свиданья, до свиданья профессор Войницкий! – пропел Пнин, и его щеки были румяными и круглыми под фонарем крыльца.

(Бетти и Маргарита Тэер еще любовались в прихожей тростью польщенного д-ра Гагена, недавно присланной ему из Германии,- узловатой дубиной с набалдашником в виде ослиной головы. Голова эта могла шевелить одним ухом. Трость раньше принадлежала баварскому деду д-ра Гагена, сельскому священнику. Механизм другого уха сломался в 1914 году, согласно оставленной пастором записке. Гаген брал ее, по его словам, для защиты от немецкой овчарки в Муравчатом переулке. Собаки в Америке не привыкли к пешеходам. Он же всегда предпочитает пешие прогулки автомобилю. Ухо починить нельзя. По крайней мере, в Уэйнделе.)

– Хотел бы я знать, почему он меня так назвал,- сказал Д. В. Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоане Клементс, пока они шли сквозь синюю тьму к четырем машинам, запаркованным под ильмами на другой стороне дороги.

– Наш друг,- отвечал Клементс,- пользуется собственной номенклатурой. Его словесные причуды придают жизни новый трепет. Ошибки его произношения мифотворны. Его обмолвки достойны оракула. Мою жену он называет Джон.

– Все же это как-то странно,- сказал Томас,

– Вероятно он принял вас за кого-то другого,- сказал Клементс.- И, как знать, может быть, вы и в самом деле кто-то

другой.

Прежде чем они пересекли улицу, их догнал д-р Гаген. Профессор Томас, все еще недоумевая, простился.

– Ну вот,- сказал Гаген.

Стояла ясная осенняя ночь, снизу бархатная, наверху стальная.

Джоана спросила:

– Вы в самом деле не хотите, чтобы мы вас подвезли?

– Тут десять минут ходьбы. А в такую великолепную ночь пройтись пешком просто необходимо.

Втроем они постояли с минуту, глядя на звезды.

– И все это миры,- сказал Гаген.

– Или,- сказал Клементс, зевая,- страшный ералаш. Я подозреваю, что на самом деле это флуоресцирующий труп, а мы сидим внутри него.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, кончившего подробно рассказывать Тэерам и Бетти Блисс о том, как он сам однажды возвратил чужой ридикюль.

– Идем, мой флуоресцирующий труп, пора ехать,- сказала Джоана.- Очень рады были повидать вас, Герман. Передайте привет Ирмгарде. Какая чудесная вечеринка! Никогда я не видела Тимофея таким счастливым.

– Да, благодарю,- рассеянно откликнулся Гаген.

– Надо было видеть его лицо,- сказала Джоана,- когда он сказал нам, что завтра собирается говорить с агентом о покупке этого волшебного дома.

– Вот как? Вы уверены – он так и сказался – резко спросил Гаген.

– Именно,- сказала Джоана.- И уж, конечно, никто так не нуждается в собственном доме, как Тимофей.

– Ну, покойной ночи,- сказал Гаген.- Рад, что вы пришли. Покойной ночи.

Он подождал, пока они дойдут до машины, поколебался и зашагал назад к освещенному крыльцу, где стоя, как на сцене, Пнин во второй или третий раз принимался пожимать руки Тэерам и Бетти.

(«Никогда бы,- сказала Джоана, пятя машину и вращая руль,- никогда бы я не разрешила своей дочери поехать за границу с этой старой лесбиянкой».- «Тише,- сказал Лоренс,- может быть, он и пьян, но он еще достаточно близко, чтобы тебя услышать».)

– Я вам не прощу,- говорила Бетти своему хозяину, который был чуть-чуть навеселе,- что вы не дали мне вымыть посуду.

– Я помогу ему,- сказал Гаген, всходя по ступеням крыльца и стукая по ним палкой.- Вы, детки, ступайте теперь.

Еще один, последний круг рукопожатий, и Тэеры с Бетти ушли.

12

– Прежде всего,- сказал Гаген, когда они с Пниным вернулись в гостиную,- я бы, пожалуй, выпил с вами еще стаканчик вина.

– Чудно, чудно! – вскричал Пнин.- Мы допьем мой крюшон.

Они удобно уселись, и д-р Гаген сказал:

– Вы великолепный хозяин, Тимофей. Это приятнейшая минута. Мой дедушка говаривал, что стакан хорошего вина всегда следует растягивать и смаковать, как если бы он был последним перед казнью. Хотел бы я знать, что вы положили в этот пунш. Я хотел бы также знать, правда ли, как утверждает наша милейшая Джоана, что вы собираетесь приобрести этот дом?

– Не собираюсь, а просто высматриваю потихоньку возможность,- ответил Пнин с журчащим смешком.

– Не уверен, что это было бы разумно,- продолжал Гаген, обхватив ладонями стакан.

– Конечно, я надеюсь, что получу наконец штатное место,- сказал Пнин не без лукавинки.- Я теперь ассистент профессора уже девять лет. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Гаген, почему вы молчите?

– Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, Тимофей. Я надеялся, что вы этого вопроса не поднимете.

– Я не поднимаю вопроса. Я просто говорю, что я рассчитываю, что – о, не в будущем году, но например, к сотой годовщине Освобождения Рабов – Уэйндель сделает меня адъюнктом.

– Да, но, видите ли, мой дорогой друг, я должен открыть вам печальный секрет. Это покамест неофициально, и вы должны обещать мне никому не говорить об этом.

– Клянусь,- сказал Пнин, подымая руку.

– Вы не можете не знать,- продолжил Гаген,- с какой любовью и заботой я создавал наше великолепное Отделение. Я также уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что вы здесь уже девять лет. А я отдавал этому университету все, что было в моих силах, в продолжение двадцати девяти лет! Все, что было в моих скромных силах. Как написал мне на днях мой друг д-р Крафт – вы, Герман Гаген, один сделали в Америке для Германии больше, чем все наши миссии в Германии сделали для Америки. А что получается теперь? Я пригрел на своей груди этого Фальтернфельса, эту змею, а теперь он пролез на главные роли. Я не буду пересказывать вам все подробности этой интриги!

– Да,- сказал Пнин со вздохом,- интрига ужасная вещь, ужасная. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свою

ценность. В будущем году мы с вами будем читать превосходные новые курсы, которые я давно задумал. О Тирании. О Сапоге. О Николае Первом. Обо всех предшественниках современных злодейств. Гаген, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об избиении армян, о пытках, изобретенных в Тибете, о колонистах в Африке… История человека – это история боли!

Гаген нагнулся к своему другу и похлопал его по костлявому колену.

– Вы великолепный романтик, Тимофей, и в более счастливых обстоятельствах… Однако могу сообщить вам, что в весеннем семестре мы, действительно, устроим нечто необычное. Мы намерены поставить Драматическую Программу,- сцены из произведений от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз… Но не будем забегать вперед. Я также романтик, Тимофей, и потому не могу работать с такими людьми, как Бодо, как этого хотят от меня наши попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложено со следующей осени занять его место.

– Поздравляю вас,- тепло сказал Пнин.

– Благодарю, друг мой. Конечно, это очень хорошая и высокая должность. Я смогу применить бесценный опыт, который я приобрел здесь, на более обширном поле научной и административной деятельности. Так как я, конечно, знал, что Бодо не оставит вас при Германском Отделении, то я в первую очередь предложил им взять и вас, но они сказали, что у них в Сиборде и без того уже довольно славистов. Тогда я поговорил с Блоренджем, но здешнее Французское Отделение тоже переполнено. Это скверно, ибо Уэйндель чувствует, что было бы слишком тяжелым финансовым бременем платить вам за два или три курса русского языка, которые перестали привлекать студентов. Политическое положение в Америке, как всем нам известно, не поощряет интереса ко всему русскому. С другой же стороны, вам приятно будет узнать, что Английское Отделение приглашает одного из самых блестящих ваших соотечественников, действительно, увлекательного лектора – я слышал его как-то раз, кажется, он ваш старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

– Это означает, что меня выгоняют?

– Не надо принимать этого слишком близко к сердцу, Тимофей. Я уверен, что ваш старый друг -

– Кто этот старый друг? – спросил Пнин, сощурившись.

Гаген назвал фамилью увлекательного лектора.

Подавшись вперед, опершись локтями о колени, сжимая и разжимая руки, Пнин сказал:

– Да, я знаю его тридцать лет или больше. Мы друзья, но одно я знаю наверное. Я никогда не буду работать под его началом.

– Ну, утро вечера мудренее. Может быть, какой-нибудь выход и отыщется. Во всяком случае, у нас еще будет много возможностей все это обсудить. Мы с вами будем продолжать работать, как будто ничего не случилось, nicht wahr? Мы должны мужаться, Тимофей!

– Значит, меня выгнали,- сказал Пнин, сцепляя пальцы и покачивая головой.

– Да, мы в одинаковом положении, в одинаковом положении,- сказал жовиальный Гаген, поднимаясь. Становилось уже очень поздно.- Я теперь иду,- сказал Гаген, который хотя и не был таким приверженцем настоящего времени, как Пнин, но все же оказывал ему предпочтение.- Это был великолепный вечер, и я никогда не позволил бы себе отравить вам радость, если бы наш общий друг не уведомила меня о ваших оптимистических планах. Покойной ночи. Да, кстати… Вы, разумеется, полностью получите свое жалование за Осенний семестр, а там посмотрим, сколько можно будет раздобыть для вас в Весеннем, особенно если вы согласитесь снять с моих бедных старых плеч часть глупой канцелярской рутины, а также если вы примете деятельное участие в Драматической Программе в Новом Холле. Я даже думаю, что вы должны играть в ней под руководством моей дочери; это отвлечет вас от печальных мыслей. Теперь сразу ложитесь и усыпите себя хорошей детективной историей.

На крыльце он потряс неотзывчивую руку Пнина с энергией, которой хватило бы на двоих. Затем он помахал тростью и весело сошел по деревянным ступеням.

Позади гулко хлопнула решетчатая самозахлопывающаяся дверь.

– Der Arme Kerl! – бормотал про себя добросердечный Гаген по дороге домой.- По крайней мере, я подсластил пилюлю.

13

Пнин отнес в кухонную раковину грязную посуду и серебро с буфета и со стола в столовой. Он убрал всю оставшуюся снедь в освещенный ярким арктическим сиянием ледник. Ветчина и язык, как и маленькие сосиски, были съедены дочиста, но винегрет успеха не имел, а икры и пирожков с мясом осталось и на завтрак, и на обед. «Бум-бум-бум»,- сказал посудный шкап, когда он проходил мимо. Он оглядел гостиную и начал приводить ее в порядок. В прекрасной чаше блестела последняя капля пнинского пунша. Джоана сплющила в своем блюдце запачканный помадой окурок. Бетти не оставила следов и успела отнести все стаканы на кухню. Г-жа Тэер забыла на тарелке, рядом с кусочком нуги, книжечку красивых разноцветных спичек. Г-н Тэер прихотливейшим образом скрутил полдюжины бумажных салфеток; Гаген потушил намокшую и растрепанную сигару о нетронутую кисточку винограда.

На кухне Пнин приготовился мыть посуду. Он снял свою шолковую куртку, галстук и зубы. Чтобы не замочить рубашки и смокинговых штанов он надел крапчатый субреточный передник. Он соскреб с тарелок разные лакомые объедки в коричневый бумажный мешок, чтобы со временем отдать их паршивой белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая иногда навещала его под вечер – человеческое несчастье вовсе не должно лишать собаку радости.

Он приготовил в раковине мыльную ванну для посуды, стекла и столового серебра, и с бесконечной осторожностью опустил в теплую пену аквамариновую чашу. Когда она полностью погрузилась, ее звучный английский хрусталь издал приглушенный мелодичный звук. Он прополоскал под краном янтарные бокалы и серебро и утопил их в этой же пене. Потом он выудил ножи, вилки и ложки, сполоснул их и начал вытирать. Он работал очень медленно, с каким-то отрешенным видом, который в человеке менее методическом можно было бы принять за дымку рассеяния, он собрал вытертые ложки в букет, положил их в кувшин, который он вымыл, но не вытер, а потом стал доставать их оттуда по одной и заново перетирать. Он пошарил под пеной, вокруг бокалов и под мелодичной чашей,- не осталось ли еще серебра – и вытащил оттуда щипцы для орехов. Щепетильный Пнин вымыл в их и уже начал вытирать их, когда эта голенастая штуковина каким-то образом выскользнула из полотенца и упала, как человек с крыши. Он почти поймал ее на полпути – даже коснулся ее кончиками пальцев; но это только ускорило ее

паденье в хранившую бесценное сокровище пену раковины, откуда тотчас раздался непереносимый хряск. Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, постоял с минуту, уставившись в черноту за порогом распахнутой двери. Бесшумное маленькое зеленое насекомое с кружевными крылышками кружилось в слепящем свете сильной голой лампочки над глянцевитой лысой головой Пнина. Он казался очень старым со своим беззубым полуоткрытым ртом и пеленой слез, туманивших его пустой, немигающий взгляд. Потом со стоном мучительного предчувствия он вернулся к раковине и, собравшись с духом, глубоко окунул руку в пену. Укололся об осколок. Осторожно извлек разбитый бокал. Чудесная чаша была невредима. Он взял свежее полотенце и снова принялся за работу.

Когда все было вымыто и вытерто, и чаша стояла, равнодушная и невозмутимая, на самой надежной полке посудного шкапа, и маленький ярко освещенный дом был наглухо замкнут в большой черной ночи, Пнин сел за кухонный стол и, достав из его ящика лист желтой дешевой бумаги, отцепил автоматическое перо и начал сочинять черновик письма:

«Дорогой Гаген, – писал он своим ясным, твердым почерком,- позвольте мне подвесить (зачеркнуто) подвести итог нашему сегодняшнему разговору. Он, я должен признаться, несколько поразил меня. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали …»

Глава седьмая

1

Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольной соринкой, попавшей мне в левый глаз весенним воскресеньем 1911 года.

Было одно из тех порывистых, ветреных, ярких петербургских утр, когда Нева унесла уже к заливу последнюю прозрачную ладожскую льдину, и ее кубовые волны вздымаются и лижут гранит набережных, а буксиры и тяжелые баржи, зашвартованные вдоль берегов, ритмично скрипят и трутся друг о друга, и красное дерево и медь стоящих на яворе паровых яхт сияют в лучах своенравного солнца. Я обкатывал чудесный новый английский велосипед, подаренный мне на мой двенадцатый день рождения, и когда я катил обратно к нашему розовокаменному дому на Морской по гладкой, как паркет, деревянной мостовой, я был не столько озабочен тем, что дерзко ослушался своего гувернера, сколько этим зернышком жгучей боли на дальнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде прикладыванья пропитанной холодным чаем ваты и способа «три к носу» только ухудшили положение, и когда я проснулся на другое утро, крупинка, угнездившаяся у меня под верхним веком, ощущалась уже плотным многогранником, все глубже внедрявшимся каждый раз что я водянисто моргал. Под вечер меня повели к лучшему окулисту д-ру Павлу Пнину.

То время, что мы с гувернером провели в освещенной пыльными лучами плюшевой приемной д-ра Пнина, где синее пятно окна в миниатюре отражалось в стеклянном колпаке позолоченных бронзовых часов на камине, и две мухи все описывали неторопливые прямоугольники вокруг безжизненной люстры, запомнилось благодаря одному глупому инциденту из тех, что навсегда остаются в восприимчивом детском сознании. Дама в шляпе с перьями и ее муж в темных очках сидели в супружеском молчании на тахте; потом вошел кавалерийский офицер и сел с газетой у окна; потом муж удалился в кабинет д-ра Пнина, а потом я подметил странное выражение на лице моего гувернера.

Здоровым глазом я проследил за его взглядом. Офицер наклонился к даме. Он быстро по-французски корил ее за что-то, что она сделала или не сделала днем раньше, Она дала ему

поцеловать свою руку, обтянутую перчаткой. Он приник к круглой выемке в перчатке и тотчас ушел, разом исцелившись от своего неведомого недуга.

Мягкостью черт, крупным сложением, худобою ног, обезьяньей формой ушей и верхней губы д-р Павел Пнин очень напоминал Тимофея, каким тот стал спустя три-четыре десятилетия. У отца, однако, опушка соломенного цвета волос оживляла восковую плешь; он носил пенсне в черной оправе на черном шнурке, как покойный д-р Чехов; он говорил, слегка запинаясь, и совсем не так, как впоследствии говорил его сын. И какое это было райское облегчение, когда этот милый доктор крошечным инструментом, напоминавшим барабанную палочку эльфа, извлек из моего глаза терзавший его черный атом! Интересно, где теперь этот уголек? Скучная, безумная мысль, но ведь где-нибудь он да есть.

Может быть, я оттого безотчетно удержал в памяти довольно правдоподобный образ пнинской квартиры, что, посещая своих школьных товарищей, я перевидал множество разных квартир буржуазного типа. Так что могу доложить, что по всей вероятности она состояла из двух рядов комнат, разделенных длинным корридором; по одной стороне была приемная, кабинет доктора, а дальше, должно быть, столовая и гостиная; а по другой стороне две или три спальни, классная, ванная, людская и кухня. Я уже собрался уходить с флаконом глазной примочки, а мой гувернер, воспользовавшись случаем, спрашивал д-ра Пнина, не может ли переутомление глаз быть причиной расстройства пищеварения, когда входная дверь отворилась и захлопнулась. Д-р Пнин проворно вышел в корридор, что-то спросил, получил тихий ответ и возвратился со своим сыном Тимофеем, тринадцатилетним гимназистом в гимназической форме: черная блуза, черные штаны, блестящий черный кушак (я учился в более либеральной школе, где мы носили что хотели).

Неужто я в самом деле помню ежик его волос, его одутловатое бледное лицо, его красные уши? Да, и притом отчетливо. Я даже помню, как он незаметно высвободил плечо из-под гордой отцовской руки, меж тем как гордый отцовский голос говорил: «Этот мальчик только что получил пять с плюсом на экзамене по алгебре». Из глубины корридора доносился стойкий чад пирога с капустой, а сквозь отпахнутую дверь классной мне видны были карта России, висевшая на стене, полка с книгами, чучело белки и игрушечный моноплан с холщевыми крыльями и резиновым мотором. У меня имелся точно такой же, но вдвое больше, купленный в Биаррице. Если долго накручивать пропеллер, резина начинала наматываться по-другому и

укладывалась в интересные толстые завои, предвещавшие конец завода.

2

Пятью годами позже, проведя начало лета в нашем имении под Петербургом, моя мать, младший брат и я гостили у скучной старой тетки в ее на удивление запущенной усадьбе неподалеку от знаменитого курорта на Балтийском побережье. Как-то под вечер, когда я с сосредоточенным восторгом расправлял наизнанку исключительно редкую аберрацию Большой Перламутровки, у которой серебристые полоски, украшавшие испод ее задних крыльев, слились в ровное поле металлического блеска, вошел лакей с докладом, что старая барыня хочет меня видеть. Когда я вошел в залу, она разговаривала с двумя сконфуженными молодыми людьми в университетских мундирах. Один, со светлым пушком, был Тимофей Пнин, другой, с рыжеватым пухом, был Григорий Белочкин. Они пришли просить у моей тетки позволения воспользоваться пустой ригой на границе ее владений для устройства там спектакля. То был русский перевод «Liebelei», трехактной пьесы Артура Шницлера. Спектакль помогал ставить на скорую руку Анчаров, провинциальный полупрофессиональный актер, репутация которого зиждилась, главным образом, на пожелтевших газетных вырезках. Не хочу ли я участвовать? Но в шестнадцать лет я был столь же высокомерен, сколь застенчив, и отказался играть безыменного Господина из Первого Акта. Беседа окончилась обоюдным смущением, еще усилившимся оттого, что не то Пнин, не то Белочкин опрокинул стакан грушевого кваса,- и я вернулся к моей бабочке. Недели через две меня каким-то образом уговорили пойти на представление. Рига была полна дачников и инвалидов из ближнего лазарета. Я пришел с братом, а рядом со мною сидел управляющий тетушкиным имением Роберт Карлович Горн, добродушный толстяк-рижанин с налитыми кровью, голубыми, как фарфор, глазами, все время с увлечением апплодировавший невпопад. Помню запах декоративных еловых веток и глаза крестьянских детей, блестевшие сквозь щели в стенах. Передние стулья стояли так близко к рампе, что когда обманутый муж извлек пачку любовных писем, написанных к его жене Фрицем Лобгеймером, драгуном и университетским студентом, и швырнул их Фрицу в лицо, было ясно видно, что это старые открытки с косо отрезанными марками. Я совершенно убежден, что маленькую роль этого разгневанного Господина играл Тимофей Пнин (впрочем, не исключено, что в следующих актах он появлялся и в других ролях); но желтое кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с прямым пробором так

основательно преобразили его, что, так как самое его существование тогда чрезвычайно мало интересовало меня, мне нечем подкрепить эту мою уверенность. Фриц, молодой любовник, обреченный погибнуть на поединке, не только имел таинственную закулисную связь с Дамой в Черном Бархате, женой Господина, но также играл сердцем Христины, наивной венской девушки. Фрица играл коренастый сорокалетний Анчаров, на котором был кротового цвета грим; он бил себя в грудь, как будто выбивал ковер, и неожиданной отсебятиной – так как не удосужился выучить роль – почти-что парализовал приятеля Фрица – Теодора Кайзера (Григория Белочкина). Одна состоятельная старая дева, которую Анчаров в действительной жизни обхаживал, взяла совсем не подходившую ей роль Христины Вейринг, дочери скрипача. Роль модисточки, возлюбленной Теодора Мизи Шлагер, прелестно сыграла красивая, с тонкой шеей и бархатными глазами девушка, сестра Белочкина, которую в тот вечер наградили самыми громкими рукоплесканиями.

3

Маловероятно, чтобы в продолжение революционных лет и последовавшей гражданской войны я имел случай вспомнить о д-ре Пнине и его сыне. Если я восстановил с некоторыми подробностями предыдущие мои впечатления, то только затем, чтобы закрепить то, что мелькнуло у меня в голове, когда однажды апрельским вечером в начале двадцатых годов в Парижском кафе я пожимал руку русобородого, с детским выражением в глазах Тимофея Пнина, молодого эрудированного автора нескольких замечательных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей и художников было заведено собираться в «Трех фонтанах» после публичных концертов или лекций, столь популярных в среде русских апатридов; и вот при одной такой оказии я, еще охрипший от чтения, пытался не только напомнить Пнину наши прошлые встречи, но также позабавить его и окружавших нас людей необычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетку, но меня никогда не встречал. Он сказал, что всегда получал низкие баллы по алгебре и что, во всяком случае, отец никогда не демонстрировал его перед своими пациентами; он сказал, что в «Забаве» («Liebelei») он играл только роль отца Христины. Он повторил, что мы никогда прежде друг друга не видали. Наша короткая перепалка была не более чем добродушный обмен шутливыми репликами, и все смеялись; заметив, как неохотно он говорит о своем прошлом, я перешел на другую, менее личную тему.

Скоро я обратил внимание на то, что поразительной наружности молодая девица в черном шолковом свитере, с золотой лентой вокруг каштановых волос, сделалась главной моей слушательницей. Она стояла передо мной, ее правый локоть покоился на левой ладони, в правой руке она держала папиросу, как цыганка между большим и указательным пальцами, и папиросный дым струился вверх; ее яркие синие глаза были из-за дыма прикрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка медичка, которая к тому же писала стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать на мой суд несколько стихотворений. Немного позднее, все на том же сборище, я заметил, что она сидит рядом с отвратительно волосатым молодым композитором Иваном Нагим; они пили на брудершафт, для чего полагается переплести руки сотрапезников, а на расстоянии нескольких стульев от них д-р Баракан, талантливый невропатолог и последний Лизин любовник, следил за ней с тихим отчаянием в темных

миндалевидных глазах.

Спустя несколько дней она прислала мне свои стихи; характерный образец ее продукции представляет собой тот род стихотворений, которым увлекались, подражая Ахматовой, эмигрантские рифмоплетки: жеманная лирическая пьеска, передвигавшаяся на цыпочках более или менее четырехстопного анапеста, чтоб потом довольно тяжело усесться с томным вздохом:

Самоцветов кроме очей
Нет у меня никаких,
Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих.
И юноша тихий сказал:
«Ваше сердце всего нежней…»
И я опустила глаза…

Такие неполные рифмы, как «сказал – глаза», считались весьма элегантными. Заметьте также эротический подтекст и намеки a 1a cour d'amour.

Я написал Лизе, что стихи ее плохи и что ей следует перестать писать. Потом как-то раз я увидал ее в другом кафе; она сидела за длинным столом, цветущая и пламенеющая, в обществе дюжины русских поэтов. Она с насмешливым и загадочным упорством не сводила с меня своего сапфирного взгляда. Мы разговорились. Я предложил ей показать мне эти стихи еще раз, в каком-нибудь более спокойном месте. Она согласилась. Я сказал ей, что они показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Она жила в самом дешевом номере захудалого отельчика, без ванны, рядом с четой щебечущих молодых англичан.

Бедная Лиза! Конечно, и у нее бывали свои поэтические минуты, когда она, случалось, как завороженная останавливалась майской ночью на грязной улочке, любуясь – нет, поклоняясь пестрым обрывкам старой афиши на мокрой черной стене в свете уличного фонаря и прозрачной зелени липовых листьев, никших к фонарю, но она была из тех женщин, в которых здоровая красота совмещается с истерической неряшливостью, лирические взрывы с очень практичным и очень трафаретным умом, отвратительный характер с сантиментальностью и томная покорность с сильнейшей способностью заставлять людей бессмысленно хлопотать. В результате переживаний и в ходе событий, изложение коих было бы лишено всякого интереса для читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль.

Погружаясь в беспамятство, она опрокинула откупоренный пузырек темно-красных чернил, которыми она записывала свои стихи, и эту яркую струйку, выбегавшую из-под двери, Крис и Лу заметили как раз вовремя, чтобы успеть ее спасти,

Я не видел ее недели две после этой неприятности, когда накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике в конце моей улицы – стройная незнакомка в прелестном новом платье, сизом, как Париж, и в совершенно восхитительной новой шляпе с синим птичьим крылом – и вручила мне сложенный листок. «Я хочу, чтобы вы дали мне последний совет,- сказала Лиза голосом, который французы называют «белым».- Мне здесь делают предложение. Я буду ждать до полуночи. Если вы ничего не ответите, я приму его». Она кликнула таксомотор и укатила.

Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно:

«Боюсь, я заслужу немилость своим признаньем – Вам должно быть больно, дорогая Lise» – (автор письма, несмотря на то, что пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать как слишком фамильярного «Лиза», так и чересчур оффициального «Елизавета Иннокентьевна»),- «Человеку чуткому всегда больно видеть другого в неловком положении. А я именно в неловком положении.

«Вы, Lise, окружены поэтами, учеными, художниками, франтами Знаменитый художник, писавший Ваш портрет в прошлом году, теперь, говорят, спился в дебрях Массачусеттса. Ходят и всякие другие слухи. И вот я осмеливаюсь писать Вам.

Я некрасив, я неинтересен. Я не талантлив. Я даже не богат. Но, Lise, я предлагаю Вам все, что у меня есть, до последнего кровяного шарика, до последней слезы, все решительно. И, поверьте, это больше того, что может предложить Вам любой гений, потому что гению нужно так много сохранять в запасе, что он не может предложить вам всего себя, как я. Быть может, я не добьюсь счастья, но я знаю, что сделаю все, чтобы Вы были счастливы. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Я хочу, чтобы Вы продолжали Ваши психотерапевтические исследования – в которых я мало понимаю, а то, что мне в них доступно, представляется мне сомнительным. Между прочим, посылаю Вам отдельным письмом брошюру, напечатанную в Праге моим другом профессором Шато, в которой он блестяще опровергает теорию Вашего д-ра Гальпа о том, что рождение представляет собой акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить явную опечатку на стр. 48-ой этой превосходной статьи Шато. Жду Вашего» (вероятно, «решения»: нижний край листа с

подписью Лиза отрезала).

4

Когда лет через шесть я снова посетил Париж, я узнал, что Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне напечатанный сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью темно-красными чернилами: «Незнакомцу от Незнакомки». Я встретил ее с Пниным на вечернем чае на квартире известного эмигранта, эсера, на одном из тех домашних сборищ, на которых старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзающие молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и журналисты, свободомыслящие философы и ученые составляли некий рыцарский орден, деятельное и влиятельное ядро общества изгнанников, за три десятилетия своего существования оставшееся фактически неизвестным американской интеллигенции, которую хитрая коммунистическая пропаганда научила видеть в русской эмиграции мутную и совершенно фиктивную толпу так называемых троцкистов (что значит это слово – неизвестно), разорившихся реакционеров, переметнувшихся или переодетых чекистов, титулованных дам, профессиональных священников, содержателей ресторанов, белогвардейских союзов, не имевшую никакого культурного значения.

Воспользовавшись тем, что Пнин в другом конце стола увлекся политическим спором с Керенским, Лиза сообщила мне – со свойственной ей примитивной прямотой,- что она «все рассказала Тимофею», что он «святой» и что он «простил» меня. К счастью, потом она не часто сопровождала его на другие сборища, где я имел удовольствие сидеть с ним рядом или напротив, в обществе близких друзей, на нашей маленькой одинокой планете над черным, играющим алмазами городом, под лампой, заливавшей электрическим светом чей-нибудь сократовский череп, меж тем как лимонный ломтик вращался в стакане помешиваемого чая. Как-то вечером, когда д-р Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре, Людмиле, ныне лэди Д., которую я знал по Ялте, Афинам и Лондону, как вдруг Пнин крикнул д-ру Баракану через стол: «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочиняет. Он однажды выдумал, будто в России мы учились в одной школе и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Мы с Бараканом были до того ошарашены этой выходкой, что только молча переглянулись

5

Когда перебираешь в памяти старые знакомства, позднейшие впечатления часто оказываются более смутными, чем ранние. Вспоминаю разговор с Лизой и ее новым мужем д-ром Эрихом Виндом, в антракте русского спектакля в Нью-Йорке как-то в начале сороковых годов. Он сказал, что «Герр Профессор Пнин» вызывает у него «самое нежное чувство», и поведал мне некоторые причудливые подробности их совместного путешествия из Европы в начале Второй Мировой Войны. В те годы я несколько раз сталкивался с Пниным в Нью-Йорке по разным общественным и академическим оказиям; но единственное мое яркое воспоминание связано с нашей совместной поездкой в автобусе западного маршрута одним очень праздничным и очень сырым вечером 1952 года. Мы приехали из своих университетов, чтобы участвовать в литературно-художественном вечере перед большой эмигрантской аудиторией в центре города по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин с середины сороковых годов преподавал в Уэйнделе, и никогда прежде я не видал его таким здоровым, таким благополучным, таким уверенным в себе. Оказалось, что мы с ним, как он сострил, восьмидесятники, то есть что нас обоих поселили на эту ночь в районе восьмидесятых улиц западной части; и пока мы повисали на соседних ремнях в этом переполненном и одержимом конвульсиями автобусе, мой добрый друг ухитрялся энергично нырять головой и выворачивать шею, беспрестанно проверяя и перепроверяя номера поперечных улиц, и одновременно превосходно рассказывать все, что он не успел сказать на юбилее о Разростающихся Сравнениях у Гомера и Гоголя.

6

Когда я решил принять место профессора в Уэйнделе, я выговорил себе право пригласить кого захочу для преподавания в особом Русском отделении, которое я намеревался там открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предлагая ему в самых теплых выражениям, на которые я способен, ассистировать мне в какой ему будет угодно форме и степени. Его ответ удивил и покоробил меня. Он коротко отвечал, что бросает преподавание и что не станет даже дожидаться окончания весеннего семестра, После чего он переменил тему. Виктор (о котором я его учтиво спрашивал) живет с матерью в Риме; она развелась со своим третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. В заключение Пнин писал, что к его большому сожалению он должен уехать из Уэйнделя за два или три дня до публичной лекции, которую я собирался прочесть там во вторник пятнадцатого февраля, Он не уточнил, куда.

Автобус дальнего следования, доставивший меня в Уэйндель в понедельник четырнадцатого, прибыл в город, когда уже стемнело. Меня встретили Коккерели, угостившие меня поздним ужином у себя дома, где, как оказалось, мне предстояло ночевать, вместо того чтобы, как я рассчитывал, провести эту ночь в гостинице. Гвен Коккерель оказалась весьма миловидной женщиной лет под сорок, с профилем котенка и с грациозными членами. Ее муж, с которым я познакомился как-то раз в Нью-Гэйвене и который запомнился мне вялым, круглолицым, бледноволосым англичанином, приобрел неоспоримое сходство с тем, кого он вот уже почти десять лет изображал. Я был утомлен и не испытывал особого желания развлекаться за ужином номерами программы варьете, но должен признаться, Джэк Коккерель имитировал Пнина блестяще. Он битых два часа показывал мне, как Пнин преподает, как Пнин ест, как Пнин строит глазки студентке, как Пнин эпически повествует о том, как он опрометчиво запустил электрический вентилятор на стеклянной полке прямо над ванной, куда тот под действием вибрации едва не свалился; как Пнин пытается убедить профессора Войницкого, едва знакомого с ним орнитолога, что они старые приятели, Тим и Том – из чего Войницкий заключил, что его кто-то разыгрывает, прикидываясь профессором Пниным. Все это, разумеется, держалось на пнинской жестикуляции и диком пнинском английском языке, но Коккерель ухитрялся подделывать такие вещи, как тонкий оттенок разницы между молчанием Пнина и молчанием Тэера, когда они сидят

неподвижно, размышляя рядом на креслах в Профессорском Клубе. Мы видели Пнина в Библиотеке среди стеллажей и Пнина на Университетском Озере. Мы слышали, как Пнин бранит разнообразные комнаты, которые он одну за другой снимал. Мы слышали отчет Пнина о том, как он учился управлять автомобилем и что он предпринял, когда у него впервые лопнула шина на обратном пути с «куриной фермы» какого-то «Тайного Советника. Царя», где, по мнению Коккереля, Пнин проводил лето. Наконец, мы добрались до того, как Пнин однажды объявил, что его «загнали», между тем как, по словам подражателя, бедняга хотел сказать «выгнали» (сомневаюсь, чтобы мой друг мог сделать такую ошибку). Кроме того Коккерель с блеском рассказал о странной вражде между Пниным и его соотечественником Комаровым – посредственным стенописцем, дополнявшим время от времени портретами профессоров фрески на стенах обеденной залы университета, написанные великим Лангом. Несмотря на то, что Комаров и Пнин принадлежали к разным политическим направлениям, этот художник-патриот усмотрел в увольнении Пнина анти-русский жест и начал смывать надутого Наполеона, стоявшего между молодым, упитанным (ныне сухопарым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне бритым) Гагеном, чтобы вписать туда Пнина; и тут вышла сцена за завтраком между Пниным и президентом Пуром – захлебывающийся от ярости, потерявший уже всякую власть над своим английским языком Пнин, указывая трясущимся пальцем на зачаточные контуры едва наметившегося призрака мужика на стене, кричал, что подаст на университет в суд, ежели его лицо появится над этой рубахой; и тогда невозмутимо слушавший его Пур, заключенный во мраке своей полной слепоты, подождав, когда Пнин иссякнет, спросил, обращаясь ко всем присутствовавшим: «Что, этот иностранный господин служит у нас в университете?» О, да, это была уморительная имитация, и хотя Гвен Коккерель, должно быть, много раз уже слышала всю программу, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель с заплаканной мордой, завозился и начал обнюхивать меня. Повторяю, спектакль был превосходный, но он слишком затянулся. К полуночи настроение начало падать: я чувствовал, что улыбка, которую я все время держал наготове, начала проявлять симптомы губной спазмы. Наконец, все это до того мне надоело, что я стал подозревать, что вся эта пниниада в виде какого-то поэтического возмездия сделалась для Коккереля своего рода роковой манией, выставляющей свою жертву на осмеяние взамен той, над кем первоначально измывались.

Мы выпили много виски, и в какой-то момент после полуночи Коккерелю пришла в голову одна из тех внезапных идей, которые в известной стадии опьянения кажутся такими блестящими и веселыми. Он сказал, что уверен, что хитрющий Пнин никуда вчера не уехал, а просто затаился. Почему бы не телефонировать ему и не убедиться самим? Он позвонил, и хотя никто не отозвался на серию настойчивых гудков, симулирующих далекий звук настоящего звонка в воображаемой прихожей, надо было полагать, что если бы Пнин в самом деле покинул дом, этот совершенно исправный телефон был бы вероятно разъединен. У меня было идиотское желание непременно сказать что-нибудь приятное моему милому Тимофей Палычу, поэтому немного погодя я в свою очередь попробовал дозвониться к нему. Вдруг что-то звякнуло, открылась звуковая даль, донеслось в ответ тяжелое дыханье, и потом плохо подделанный голос произнес: «He is not at home. He has gone, he has quite gone (Его нет дома, он уехал, он совсем уехал)»,- после чего говоривший повесил трубку; но никто другой, кроме моего старого друга, ни даже лучший его имитатор, не мог так явно срифмовать «at» с немецким «hat» и «gone» с первой половиной «Goneril». Потом Коккерель предложил прокатиться к 999-му дому на Тоддовой улице и спеть серенаду его окопавшемуся там обитателю, но тут уже вмешалась Коккерелева жена, и мы все отправились спать после вечера, который оставил у меня в душе ощущение, соответствующее дурному вкусу во рту.

Я провел дурную ночь в прелестной, хорошо проветренной, красиво обставленной комнате, где ни окно, ни дверь не запирались как следует, и где ночная лампа стояла на однотомном полном издании Шерлока Хольмса, преследовавшем меня многие годы; она была такая слабая и тусклая, что гранки, которые я захватил с собой для правки, не могли скрасить бессонницы. Грохот грузовиков через каждые две минуты сотрясал дом; я то и дело начинал было дремать и, задохнувшись, садился в постели, и сквозь пародию оконной шторы какой-то луч с улицы падал на зеркало и ослеплял меня, так что мне казалось, что меня расстреливают у стенки.

Я так устроен, что мне совершенно необходимо проглотить сок трех апельсинов, чтобы быть готовым встретить невзгоды дня. Поэтому в половине восьмого я наскоро взял душ, и через пять минут вышел из дому в обществе длинноухого и унылого Собакевича.

Воздух был прян, небо начищено до блеска. Пустынное шоссе к югу взбиралось, между снежными пятнами, на сизый холм. Высокий обнаженный тополь, коричневый, как метла, возвышался

справа от меня, и его длинная утренняя тень, протянувшись через улицу, доходила там до кремового цвета дома с зубчатым верхом, который, по словам Коккереля, мой предшественник принимал за Турецкое консульство на том основании, что он видел, как туда входило множество людей в фесках. Я свернул налево, на север, прошел под-гору два-три квартала к ресторану, который я приметил накануне; но он еще не открылся, и я повернул обратно. Не успел я сделать и двух шагов, как вверх по улице прогромыхал большой грузовик с пивом, а сразу же за ним проследовал маленький бледно-голубой седан с выглядывавшей из него белой собачьей головой, после чего проехал еще один большой грузовик – точная копия первого. Утлый седан был набит узлами и чемоданами; за рулем сидел Пнин. Я издал приветственный рев, но он не видал меня, и мне оставалось надеяться, что мне удастся подняться на гору достаточно быстро, чтобы догнать его, пока красный свет в одном квартале отсюда преградит ему путь.

Я нагнал задний грузовик и еще раз увидел мельком напряженный профиль моего старого друга, в шапке с наушниками и в зимнем брезентовом пальто; но в следующее мгновение зажегся зеленый свет, белая собачонка, высунувшись, тявкнула на Собакевича, и все устремилось вперед – грузовик номер один, Пнин, грузовик номер два, С того места, где я стоял, я видел, как они удалялись в обрамлении дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Потом маленький седан храбро обогнал передний грузовик и, вырвавшись, наконец, на волю, пустился вверх по сверкающей улице, которая, сколько можно было разглядеть, суживалась в золотую нитку в мягком тумане, где череда холмов скрашивала даль, и где просто невозможно предсказать, какое чудо может случиться.

Коккерель, в коричневом халате и сандалиях, впустил кокера и повел меня на кухню к наводящему тоску английскому завтраку из почек и рыбы.

– А теперь, – сказал он, – я хочу рассказать вам историю о том, как Пнин поднялся на сцену, чтобы выступить в Кремонском Женском Клубе, и обнаружил, что взял с собой не ту лекцию.

Послесловие переводчика

Я начал переводить «Пнина» зимой 1976 года в Москве. Спустя полтора года мне удалось переслать со сложной оказией первые три переведенные главы в Монтрё. Собственно, в то время я вовсе не думал об издании перевода; к тому же весной 1978 года я одновременно узнал о публикации журналом «Америка» анонимной русской версии первой главы «Пнина» (потом я выяснил, что автором этого довольно странного переложения как будто был г. Георгий Бен) и сообщении радио «Голос Америки» о том, что г-жа Набокова одобрила для издания чей-то перевод книги. Вследствие этой неслучайной, как мне казалось, комбинации совпадений (имелись и другие, тоже забавные) я совершенно уверился в том, что русский «Пнин» вот-вот будет напечатан, может быть, в переводе автора журнальной версии.

Тем не менее я закончил свой перевод в 1979 году, и незадолго до эмиграции из С.С. получил, тоже окольным путем, письмо от В.Е. Набоковой, в котором упоминалась возможность издания моего перевода, что было для меня, конечно, полной неожиданностью.

В итоге последовавшей за тем трехлетней переписки с г-жой Набоковой и г-жой Сикорской и недельной сессии в Монтрё и Женеве в августе 1981 года текст перевода был несколько раз совершенно переработан, так что вариант, предлагаемый теперь читателю, представляет собой седьмую или восьмую полную редакцию первоначального.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить мою глубокую признательность В.Е. Набоковой и Е.В. Сикорской за бесчисленные улучшения и чудесные решения некоторых трудных мест, подсказанные ими, и за их любезное согласие несколько раз прочитать и поправить мой манускрипт. Безусловно, без чрезвычайно важного участия В.Е. Набоковой перевод никогда не мог бы быть напечатан.

Это последняя и окончательная редакция перевода позволяет, кажется, сказать, что «Пнин» переведен настолько честно, т. е. буквально, насколько это было в силах переводчика. (Я допустил только одну сознательную вольность, изменив ради сохранения важного каламбура имена и фамильи профессоров-двойников из шестой главы.) Тут, однако, нужно объяснить одну существенную черту книги, которой этот перевод не мог удовлетворительно передать.

Английская речь профессора Пнина полна характерных и часто забавных дефектов. Он постоянно ошибается в

произношении многих слов. Он неизменно переносит сравнительно свободный порядок расположения слов в русской фразе на куда более строгое в этом отношении английское предложение. Он любит и все время употребляет только что приобретенные идиомы и изобретенные каламбуры (опасное для иностранца пристрастие) и часто попадает впросак, неправильно пользуясь первыми или переоценивая эффект последних. Он делает и множество других ошибок.

Все эти особенности составляют весьма заметную тематическую линию романа, и почти все они полностью отсутствуют в переводе. В первых его редакциях была сделана безнадежная, но всегда соблазнительная попытка условно передать нескладный язык Пнина ломаным русским (у этого наивного приема в русской литературе имеется длинная история, всем известная, но никем, кажется, не изученная). Потом, однако, от нее пришлось отказаться почти совершенно, хотя бы потому, что р у с с к и й язык Пнина, конечно, безупречен, и сознательное искажение его прямой речи, которое должно было означать перевод его перевода на английский язык его правильного русского речевого потока, было бы втройне громоздко и неоправданно комично.

Не мог я воспользоваться и объяснительными сносками в каждом таком случае, так как считаю, что им не место в романе, где всякое инородное вторжение в текст грубо прорывает оболочку (идеально герметическую у Набокова) фикции. Поэтому читатель русского «Пнина» должен все время помнить, что перевод этих мест обесцвечивает оригинал.

С другой стороны, только англо-русский читатель узнает в начале письма Пнина к Лизе Боголеповой (и в вводной фразе сразу перед ним – глава 7) пушкинский рифмованный ямб (шестая глава «Онегина»), или расслышит поступь чудесного русского языка Пнина в его хромающей английской речи, или оценит некоторые русско-американские литературные и нелитературные пародии, встречающиеся там и сям. Такому читателю, повторяю, ничего кроме оригинала не нужно.

Однако я знаю, что между русскоязычными читателями есть, может быть, несколько внимательных «перечитывателей», для которых этот перевод будет не лишен интереса и смысла.

Я хочу здесь выразить благодарность Карлу Профферу за его редкое между издателями неизменное терпение и понимание сложностей этого трудного проекта.

Наконец, несколько экстравагантный салют посылается отсюда тому безымянному чекисту, который 7 ноября (нового стиля) 1979 года мучительно долго и уныло рассматривал

толстую рукопись перевода в таможенном отделении Московского аэропорта, едва слушая мои быстрые, абсурдно-логические, настойчивые комментарии, чтобы, поддавшись вдруг внушению какого-то явно заинтересованного духа (покровителя Пнина и дословных переводчиков), махнуть, наконец, «разрешающе-уступительным» жестом в сторону каменного таможенника и тотчас скрыться среди горок разложенного на столах для осмотра однообразного скарба моих случайных попутчиков.

Геннадий БАРАБТАРЛО
23 апреля 1983 г.
Урбана, Илл.

Геннадий Александрович Баравтарло (род. в 1949 г.) по окончании курса в Московском университете на кафедре русской филологии служил в Музее Пушкина в должности научного сотрудника и ученого секретаря и изредка печатал статьи и переводы под своим настоящим именем и под чужими. Тридцати лет эмигрировав в Америку, получил в 1984 г. докторскую степень по русской литературе в Иллинойском университете и место доцента, а потом и ординарного профессора на кафедре германской и русской словесности главного университета Миссури (в городе Колумбия), которой теперь заведует. Большая часть его научных трудов, опубликованных почти исключительно в американских изданиях, посвящена Пушкину и Набокову. Роман последнего «Пнин», равно как и все его английские рассказы, были переведены Баравтарло на русский язык в сотрудничестве с вдовой Набокова. «Пнин» издан в 1983 г. «Ардисом» и перепечатан, с неисправностями, «Иностранной литературой» (1989, № 2); переводы рассказов появлялись в разных эмигрантских повременных изданиях. Работы Баравтарло о Набокове собраны в двух его книгах: «Тень факта. Путеводитель по „Пнину"» («Phantom of Fact. A Guide to Nabokov's "Pnin"» Ann Arbor: Ardis, 1989) и «Вид сверху. Очерки художественной техники и метафизики Набокова» («Aerial View. Essays of Nabokov's Art and Metaphysics». N. Y. – Bern, 1993). Комментированное им издание рассказов Солженицына («Как жаль») недавно вышло в Англии в серии «Бристольские классические тексты». Время от времени Баравтарло помещает в русских зарубежных журналах свои стихи и прозу.